

ПЕРЕКРЕСТКИ

*Я сам не знаю, что со мной творится,
другой красы душа не понимает,
и холм чужбины в зрении двоится
и Грузию мою напоминает.*

*Природе только слово соразмерно.
Смотрю, от обожания немею
и все, что в этом мире несравненно,
я сравниваю с Грузией моею.*

*Ее свеча восходит солнцем малым
среди звезд и лун, при ветреной погоде.
Есть похвала тому, что изумляет:
о, как оно на Грузию похоже.*

Григол АБАШИДЗЕ
Перевод Беллы АХМАДУЛИНОЙ

ПЕРЕКРЕСТКИ СЛОВ И СУДЕБ

В 2007 году «Русский клуб» придумал и провел Первый международный русско-грузинский фестиваль. Мы стремились к самому главному – возродить замечательную традицию взаимных переводов русских и грузинских поэтов.

Нет нужды напоминать вам, дорогой читатель – раз вы открыли эту книгу, значит, вам известно – как много и с какой любовью поэты переводили друг друга.

И это не просто история литературных связей. Это история великой человеческой дружбы. Легендарные имена стоят в этом ряду – Борис Пастернак, Николай Заболоцкий, Тициан Табидзе, Паоло Яшвили... Совсем недавно жили и творили поэты-побратимы Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Александр Межиров, Анна Каландадзе, Вахушти Котетишвили, Отар Чиладзе... Здравствуют, на наше счастье, Юрий Ряшенцев, Евгений Рейн, Евгений Евтушенко, Олег Чухонцев, Тамаз Чиладзе, Джансуг Чарквиани, Эмзар Квитаишвили... Дай им бог здоровья!

Не могу не процитировать совсем недавно полученное мною письмо Владимира Леоновича, который, к сожалению, не смог приехать в этом году на наш

фестиваль. Сколько любви и боли в этих драгоценных строчках! Вот он, мастер-класс, образец дружбы и благодарной памяти:

«Беззубым ртом, шепелявым звуком правдивому зеркалу прочел я любовные стихи и отказался от порыва лететь в Грузию. Остался с утешением, что в лихие дни незаконной перестройки не покидал вас и ругал нас, великодержавников. Мертвому Отару Чиладзе телеграфировал: Отар, прости Россию! Московским грузинам говорил: я грузинше вас, ребята... Поклон Городу и отдельный поклон – улице Хетагурова. Всегда с вами – Владимир Леонович».

От классиков живую эстафету добрых человеческих взаимоотношений и творческого сотрудничества принимает молодежь.

В книге под говорящим названием «Перекрестки» сошлись в одну большую поэтическую семью именитые профессионалы и совсем молодые поэты. Но все они в разные годы были участниками фестивалей «Русского клуба». И мы горды, что наш фестиваль сыграл свою роль в ярком возрождении литературного единения.

Шесть лет назад нам это показалось бы чудом. Но вы держите в руках сборник переводов «Перекрестки». И значит, чудо все-таки случилось.

Николай СВЕНТИЦКИЙ,
Заслуженный деятель искусств РФ

Ну, вот наконец и произошло то, что неминуемо должно было произойти: похоже, что у русских и грузинских поэтов возрождается взаимный интерес друг к другу. Когда-то, теперь уже в прошлом веке, мои друзья: Белла Ахмадулина, Олег Чухонцев, Владимир Леонович, Илья Дадашидзе, Наташа Соколовская – за честь почитали перевести стихи своих грузинских коллег. И читающая Россия знала и любила многих из тех, кто составлял и составляет славу грузинской поэзии, одной из лучших европейских поэзий.

Русский клуб все эти трудные годы старался сделать все, чтобы сохранить и укрепить эту благородную заинтересованность друг в друге двух замечательных литератур. И кажется, что это ему удалось.

Мне приятно пожелать молодым российским поэтам грядущих удач в деле, которое так здорово и увлеченно делали наши классики Борис Пастернак, Николай Заболоцкий, Александр Межиров. В свой прошлый приезд в Грузию я с радостью обнял своего старого друга Джансуга Чарквиани. С еще большей радостью я узнал, что он принимает участие в подготовке издания «Перекрестков». Будет прекрасно, если он со своей, а я со своей стороны подтолкнем наших молодых к этому плодотворному и, надеюсь, вечному процессу взаимного обогащения грузинской и русской поэзий.

Юрий РЯШЕНЦЕВ
19 мая 2013 год

МОЕ ВЕЛИКОЕ СОДРУЖЕСТВО

Для меня Россия не была ни Россией Ленина, ни Хрущева. Для меня Россия – это Россия Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского. Не забуду Римму Казакову и Юнну Мориц, Михаила Синельникова, Наташу Соколовскую и Юрия Ряшенцева, Владимира Леоновича, Станислава Куняева, Владимира Лугового... Вот – моя Россия.

Многих еще не назвал. Любовью их мы жили.

1989 год. Звонят мои друзья из Москвы, спрашивают: - Джансуг, в издательстве «Художественная литература» выходит твоя книга, приедешь и прочитаешь корректуру, или мы привезем тебе книгу «Вот я вернулся»? - Нет, говорю, сам приеду, и на следующий день – уже в Москве. В гостинице «Россия» меня навестили Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. Окружили заботой, повезли в грузинский ресторан. Первый тост – за Грузию. Отметили мой приезд ...

Так вышла моя первая книга на русском языке – корректуру они прочитали, и все было готово.

Изданную книгу в большом количестве прислали мне в Тбилиси...

Большинство из перечисленных друзей были моими частыми гостями.

Вспоминается такой случай. Мы в Москве, на съезде писателей СССР – я, Чабуа Амирэджиби, Нодар Думбадзе и Тамаз Чиладзе. Я говорю: «Ребята, довольно заниматься сбором денег, давайте-ка, чья очередь будет, пусть оплатит застолье». И вот моя очередь. Пригласил я моих русских друзей в известный ресторан – знатное получилось застолье. В его середине я обратился к девушке, обслуживающей наш стол, и попросил заранее принести счет. А она, знаете, что мне отвечает? В самом начале, дескать, заплатила Белла Ахмадулина.

Изумленный, я вернулся к столу и говорю Белле: – Что ты такое делаешь? - Ничего особенного, отвечает, - только то, что ты сам делаешь в Тбилиси. Вот таким человеком была эта чудесная поэтесса.

Еще вспоминается о Белле - узнаю, что в издательстве арестовали тираж ее книги, из-за излишней смелости стихов, они коммунистическому режиму не понравились. Белла, как оказалось, очень переживала. Звоню Белле и говорю: - Не бойся, присылай мне твою книгу, у нас напечатаем. Сначала удивилась, а потом приехала и привезла свою так называемую смелую книгу. Я заранее договорился обо всем с директором издательства «Мерани» Гурамом Гвердцители, и, разумеется, книга была издана. Это был сборник «Сны о Грузии». Сердечные отношения связывали меня с Беллой...

Теперь расскажу о Римме Казаковой. 1990 год. У меня и моих друзей-писателей - напряженные отношения с властью. Решил я основать грузинский ПЕН-центр Всемирного ПЕН-клуба. Но из Тбилиси документы никуда не отправились.

Подумал-подумал, и все собранные документы через мою дочь, Тако Чарквиани, отправил в Москву Римме Казаковой. Римма с помощью друзей все отправила по назначению. И через десять дней получила согласие из Всемирного ПЕН-клуба и ответ изгнанного из Советского Союза великого поэта Иосифа Бродского. Это было письмо на мое имя. Вот так впервые основали в Грузии ПЕН-центр, а меня избрали его первым президентом. Почетным президентом ПЕН-центра я называл Чабуа Амирэджоби.

Добро не следует забывать, помнить о нем надо вечно, и помнить тех, кто отнесся к тебе с уважением на твоём жизненном пути, пути любви. И я всегда помню и приветствую мое русское содружество!

Когда мне исполнилось восемьдесят лет, меня с большой любовью поздравил Евгений Евтушенко. Даже не знаю, как он вспомнил про эту дату. Эх, что поделаешь, из моего поколения мало кто остался. Потому, пока я жив, я помню моих друзей, и – с большой любовью!

Вспоминается самая приятная встреча на предыдущем поэтическом фестивале, летом 2011 года. По соседству с моим домом, в светлом зале я присутствовал на презентации книги замечательного тбилисского литератора Арсена Еремена. И вдруг узнал, что в зале находится мой старый друг и ровесник, один из лучших на сегодня поэтов, Юрий Ряшенцев. В ту же секунду я устремился к нему и, обрадованные после долгих лет разлуки, мы по-братски обнялись. Не знали, о чем говорить, столько было чего сказать друг другу. Ранее, в Москве и Тбилиси, нас связывали незабываемые встречи за переводом наших стихов, и нас связывала только любовь. А пока я предложил: «Юра! Завтра ты непременно должен быть в моей семье, на обеде, на который я созываю близких людей, но дорожке и желание тебя гостя не будет». На это он улыбнулся, горячо поблагодарил, достал из кармана авиабилет и сказал: «Завтра мне исполняется восемьдесят лет, и если я не буду в этот день в Москве, мне не простят. Утром улетаю».

Что тут было делать? Человек живет надеждой, и я надеялся, что снова встречу моего старого преданного друга. С божьей милостью, это время настало.

Джансуг ЧАРКВИАНИ

16 мая 2013 год

ჩემი დიდი სამეგობრო

ჩემთვის რუსეთი არც ლენინის რუსეთი ყოფილა და არც – ხრუშჩოვის. ჩემთვის რუსეთი ბელა ახმადულინას, ევგენი ევტუშენკოს, ბულატ ოკუჯავას, ანდრეი ვოზნესენსკის რუსეთია. ვერ დავივიწყებ რიმა კაზაკოვას და იუნა მორიცს, მიხეილ სინელნიკოვს, ნატაშა სოკოლოვსკაიას და იური რიაშენცევს, ვლადიმერ ლეონოვიჩს და პიოტრ ვეგინს, ს.ბორისოვას, ნ.ორლოვას, ს.კუინიაევს, იგორ შკლიარევსკის, ლევ ოზეროვს, ვ.ლუგავოს. აი, ჩემი რუსეთი. ვბევრი კი გამომრჩა. ამათი სიყვარულით ვცხოვრობდით.

1989 წელს და მირეკავენ ჩემი მეგობრები მოსკოვიდან, ჯანსუღ, “ხუდოუესტვენნაია ლიტერატურის” გამომცემლობაში შენი წიგნი გამოდის, აქ ჩამოხვალ და წაიკითხავ კორექტურას თუმცა ანდ ჩამოგიტანოთ წიგნი “ვოტ ია ვერნულსია”. არა, არა, მე თვითონ ჩამოვალ-მეთქი და მეორე დღეს იქ გავჩნდი. სასტუმრო “როსიაში” მესტუმრნენ ბელა ახმადულინა, ევგენი ევტუშენკო და ანდრეი ვოზნესენსკი. სიყვარული მომფინეს და წამიყვანეს ერთ ქართულ რესტორანში, პირველად, საქართველოს სადღეგრძელო შესვეს. მაგრამ ვიგრძალეთ. . . ასე გამოიცა ჩემი პირველი წიგნი რუსულ ენაზე – კორექტურაც წაკითხული იყო და ყველაფერი მზად ჰქონდათ.

გამოცემის შემდეგ, წიგნი ბლომად გამოიგზავნეს თბილისში. . .

ზემოთჩამოთვლილ მეგობრებიდან უმეტესობა ჩემი ხშირი სტუმარი იყო.

ერთი რამ მინდა გავიხსენო: მოსკოვში ვართ, მწერალთა საკავშირო ყრილობაზე მე, ჭაბუა ამირეჯიბი, ნოდარ დუმბაძე და თამაზ ჭილაძე. ჩემს ძმაკაცებს მივმართე:

- ბიჭებო, კმარა ფულის შეგროვება, მოდი ვისი ჯერიც დადგება, პურ-მარილის ფულიც იმან გადაიხადოს-მეთქი. ჰოდა, დადგა ჩემი ჯერი. სტუმრები თითქმის ერთიდაიგივე პოეტები გვყავდნენ. მზე დავპატიჟე ჩემი რუსი სამეგობრო ერთ-ერთ ცნობილ რესტორანში დიდებული პურ-მარილი გავაწყეთ. შუა სუფრიდან მივადექი მომტან ახალგაზრდა მშვენიერ გოგონას და ვთხოვე, წინასწარ მიანგარიშე-მეთქი. მან კი მიპასუხა, იცით, რა? – სუფრის ფული შემოსვლისთანავე ბელა ახმადულინამ გადმომცა და მითხრა, თუ რამე მოგჩივ, მერე მომეციო.

გაოგნებული დავრჩი, მივბრუნდი და ბელას მივადექი, ვუთხარი, ეს რა მოიმოქმედე-მეთქი. არც არაფერი – რასაც შენ აკეთებ თბილისში, ის გავაკეთე მოსკოვშიო, - მიპასუხა. აი, ასეთი ქალი იყო ეს სოცარი პოეტი.

ერთსაც გავიხსენებ ბელასთან დაკავშირებით: გავიგე, რომ გამომცემლობაში წიგნი დაუყადაღეს და ზედმეტი და ჭარბი სიტამამის გამო, კომუნისტურ რეჟიმს არ მოეწონა თამამი ლექსები. ბელა, თურმე, სასტიკად განიცდიდა. დავურეკე ბელას და ვუთხარი, არ შეშინდე, გამოგვიგზავნე შენი წიგნი და აქ დაიბეჭდება-მეთქი. ჯერ გაიკვირა, შემდეგ კი, ჩამოვიდა და ჩამოიტანა თავისი ე.წ. თამამი წიგნი. მე კი, წინასწარ მქონდა შეთანხმებული გამომცემლობა “მერანის” დირექტორთან, გურამ გვერდწითელთან ყველაფერი და, რა თქმა უნდა, წიგნი გამოიცა. თბილისში, იმ წიგნის “სიზმრები საქართველოზე” გამოცემაც აღვნიშნეთ. . . აი, ასეთი გულითადი ურთიერთობა მქონდა ბელასთან.

ახლა, პოეტ რიმა კაზაკოვასთან დაკავშირებით გეტყვით: 1990 წელს და ჩემთან და ჩემს მეგობარ მწერლებთან ხელისუფლებას დაძაბული ურთიერთობა აქვს.

გადავწყვიტე, ჩამომეყალიბებინა მსოფლიო პენ-კლუბის ქართული პენ-ცენტრი. თბილისიდან საბუთებს ვერსად გავაგზავნი, მოვიფიქრე, ყველა საბუთი შევაგროვე და ჩემს ქაკიშვილს, თაკო ჩარკვიანს გავატანე მოსკოვში, რიმა კაზაკოვასთან, რომელიც კარგად იცნობდა მსოფლიო პენ-კლუბის ხალხს. ღიმამ, მეგობრების დახმარებით, საბუთები და სია ჩვენი ეჩუღი მწერლებისა გაუგზავნა მსოფლიო პენ-კლუბს. იქიდან კი, ათი დღის თავზე, ბრწყინვალე თანხმობა და პასუხი მივიღე საბჭოთა კავშირიდან გაქცეული დიდი პოეტის, იოსიფ ბროდსკისაგან. ეს წერილი ჩემს სახელზე იყო და არის. აი, ასე დავაარსეთ პირველად საქართველოში პენ-ცენტრი, მე ერთხმად ამირჩიეს პირველ პრეზიდენტად. ამის შემდეგ, მე ჭაბუა ამირეჯიბი საპატიო პრეზიდენტად დავასახელე.

სიკეთე არ უნდა დაივიწყო, მარად უნდა გახსოვდეს, გახსოვდეს პიროვნება, რომელმაც შენი სიყვარულის გზას პატივი სცა. მე ყოველთვის მივესალმები ჩემს რუს სამეგობრის!

ოთხმოცი წლისა რომ გავხვდი, დიდი სიყვარულით მომილოცა ევგენი ევტუშენკომ, არადა, არ ვიცი, საიდან ახსოვდა ეს დღე. ეჰ, რას იზამ< ჩემი თაობისანი თითქმის აღარ არიან. ამიტომ, სანამ ცოცხალი ვარ, მანამ მემახსოვრებიან ჩემი მეგობრები. ხოლო ცოცხლებს, ჩემი ჩამონათვალიდან, ყველას მივესალმები, თანაც – დიდი სიყვარულით!

პოეზიის წინა, მეხუთე ფესტივალიდან, 2011 წლის ზაფხულში რომ ჩატარდა, ყველაზე სასიამოვნოდ ერთი შემთხვევა მაგონდება. ჩემი სალის მახლობლად, ნათელ დარბაზში, თბილისელი, შესანიშნავი პოეტისა და ჟურნალისტის არსენ ერემიანის წიგნის «22 ივნისი» პრეზენტაციას ვესწრებოდით. უეცრად გავიგე, რომ იმავე დარბაზში იმყოფებოდა დიდი ხნის მეგობარი, ჩემი თანატოლი, დღევანდელი რუსეთის ერთ-ერთი პოეტთაგანი იური რიაშენცევი. მაშინვე მისკენ გავქანდი და გახარებულები, ათეული წლებით დაშორებულები, ერთმანეთს ძმურად გადავეხვიეთ. აღარ ვიცოდით, რაზე გველაპარაკა, იმდენი გვქონდა სათქმელი. ადრე, მოსკოვსა თუ თბილისში დაუვინწყავიშეხვედრების ერთმანეთის ლექსების თარგმნისა და სიყვარულის გარდა არაფერი გვიკეთებია. ახლა ესა მოვიფიქრე: იურა, ხვალ უსათუოდ ოჯახში უნდა მეწვიო სადილზე, რამდენიმე ახლობელ ადამიანსაც დავუძახებ, მაგრამ შენზე ძვირფასი და სასურველი სტუმარი ჩემთან არავინ მოვა, მეთქი. ამაზე გაუღიმა, დიდი მადლობა გადამიხადა, ჭიბიდან თვითმფრინავის ბილეთი ამოიღო და მითხრა: ხვალ ოთხმოცი წელი მისრულდება და ჩემიანებთან, მოსკოვში რომ არ ვიყო, არაფრით არ გამოვა, დილითვე მივფრინავ.

რალას ვიზამდი. ადამიანს იმედი აცოცხლებს და მეც იმედი დავიტოვე, რომ ჩემს ძველს უღალატო მეგობარს ისევ შევხვდებოდი. ღვთის წყალობით, ეს დრო მოახლოვდა.

ჯანსუღ ჩარკვიანი
16 მაისი, 2013 წელი

ЧАСТЬ 1

МАКСИМ АМЕЛИН

Поэт, переводчик, литературный деятель. Лауреат премий «Антибукер», журнала «Новый мир», Большой премии «Московский счет», премии Александра Солженицына. Живет в Москве.

Шалва БАКУРАДЗЕ

УОЛТ УИТМЕН ПРОТИВ ДЖОРДЖА БУША

Этим утром, этим хмурым мартовским утром,
 Пока Земля еще не перестала дышать,
 Пока травы еще не утратили способность под ветром шелестеть,
 Пока рыбы еще не исчезли в морях и реках,
 Пока льды еще не успели растаять на полюсах,
 Пока радость еще не отступилась, тенью следуя за каждым из нас,
 Я взываю к вам, люди,
 Этим пасмурным мартовским утром взываю я к вам,
 Кто на этой Земле укоренился глубже древес первородных,
 Кто для этой Земли поважнее, чем дождь и снег, чем Солнце и звезды,
 Кто из этой Земли прорастает, подобно траве, кто питается этой Землей и в свой срок возвращается в эту Землю,
 Люди, я к вам взываю,
 Кто на Дальнем Востоке выходит в открытое море на рыболовецких судах, снастями груженных;
 Кто на китайских полях, орошаемых желтой водой, растит рис, принося домой еженощно на волглых подошвах землю, желтую землю, которой являетесь вы;
 Кто в австралийских обитает градах и весях, зная твердо, что блаженная эта земля — ваша;
 Кто на дорогах индийских в рубище сидит с рукой протянутой или с цветочными гирляндами торопится в храм, где ждут улыбчивые и молчаливые боги;
 Кто в российских бескрайних просторах прозябает, налившись водкой, прозрачной как ваши души;
 Кто в Сахаре с оазиса на оазис переносит соль и пшеницу, чья кожа черней той земли, из которой вы произникли, вы, рожденные этой землей и ею наученные терпению;
 Кто у подножья египетских пирамид сеет и строит, воспринимая как обыденную данность обступающие вокруг окаменевшие тысячелетия;

Кто в Греции, в Италии, в Испании, во Франции ощупью ищет счастье внутри городских лабиринтов;

Кто в Украине, в Белоруссии, в Грузии учится свободе, ибо ваша она от рождения и нельзя о ней вам забывать;

Кто на Крайнем Севере выносит лютые морозы и любовью постель по ночам согревает, в чьих жилах кровь течет горячее лавы;

Кто по улицам Нью-Йорка вышагивает и взглядом пытается отыскать привычные небоскребы, сровнявшиеся с землей, - жизни цена вам известна не понаслышке;

Кто в джунглях Амазонки, Конго и Новой Гвинеи пребывает и радуется, глядя на далекие звезды;

Кто под небом Багдада и Тегерана затравленно ждет с минуты на минуту огненного града; -

К вам я взываю,

Этим мартовским пасмурным утром я к вам взываю, люди,

Кто мною здесь не упомянут, кто мне неведом, кто столь отдален в пространстве,

Что слово мое до вас не дойдет и через многие годы,

Но все же к вам я взываю,

Во имя любви и всего сущего,

Ибо сегодня некому, кроме вас, выступить против смерти,

Ибо сегодня некому, кроме вас, кричать, вопить, орать в защиту жизни,

В защиту нашей всеобщей святыни,

В защиту

Жизни.

Ника ДЖОРДЖАНЕЛИ

СТАНСЫ

I

Мозг мой разлука гложет:
справиться – не способен;
вечности день, что прожит
мною без тебя, подобен, -
выпь голосит средь ночи
воплем о том гортанным.
Мне ж обернуться проще
каменным истуканом.

II

Я не терял рассудка, -
жаль его непотерю!

Страсть ожививший, чутко
вслушиваюсь и верю
той тебе, что как совесть
вечно казнит, коль плохо
мною творимое, то есть
стук о стенку гороха.

III

Отдаленная, лучше
мой раскрываешь дар ты, -
сам себя, как заблудший,
я при помощи карты
одиначества к цели
вывожу. - К стихоплету
проявляешь ужели
сквозь пространство заботу?

IV

В предстоящем зеркале,
праведном и глубоком,
жрицей ты через дали
зришь всевидящим оком,
где я, силен ли, слаб ли,
мучишь, коришь как хочешь, -
скоро меня по капле
каменного источишь.

V

Я коробок размокший
спичек в осенней луже
вспомнив, пою. - Потекшей
вниз по щеке, снаружи
мертвенной, той подобно
счастье одной слезинке, -
ведомо нам подробно,
наизусть, без запинки.

VI

Что поделать, я — тот, с кем

тяготишься союзом
и духовным, и плотским
ты, как ненужным грузом.
Ни меж собой мы сами,
ни с отчизной – не родня,
разве став мертвецами,
в зазеркальном “сегодня”.

VII

Времена не похожи
друг на друга нимало, -
хладнокровней, до дрожи,
прежних – то, что настало:
шум его беспрестанен;
жаром страсти объятый,
я амуровой ранен
не стрелой, а гранатой.

VIII

В мыслях твое насто[ль]ко
мною изласкано тело,
что от удара тока
кто другой, оголтело
тронув тебя, отпрянет,
но, себе разъяренно
боль причиняя, станет
ждать ответного стога.

IX

В лед обратиться, в иней
жилам, суставам, коже,
ведь без тебя – с пустыней
хладной пространство схоже,
но лежать, снегопадом
тешась, как бы хотела
ныне с тобою рядом
каждая клетка тела.

X

Воздух порвать бы в клочья! -
 Нас представить в пределах
 розных не мню точь-в-точь я
 черными клавиш белых,
 ангелов ли хохмящих.
 Хлопьев ты кружишь ватой
 в поле зренья, маячишь,
 словно кадр двадцать пятый.

XI

Саваном плотным скрыты
 у надежды, у счастья
 и чело, и ланиты, -
 пульса ни у запястья
 пальцами, ни губами
 не прощупать на вые.
 Рвешь ты сердце, как знамя,
 на лоскутья живые.

XII

Мрак. Пустынные виды.
 Я по гиблому краю
 не планеты – планиды
 астронавтом ступаю,
 но, зане не разъемлю
 яви с вымыслом звенья,
 некому ждать на землю
 моего возвращенья.

СУСАННА АРМЕНЯН

Поэт, переводчик, бард. Обладатель Гран-при Первого конкурса молодых русскоязычных литераторов Грузии. Живет в Тбилиси.

Шалва БАКУРАДЗЕ**ПИСЬМО К НИНО**

А кому же другому петь мне? Ты одна в моем сердце –

Гость любезный, больше не жду никого в каморку свою
И, влюбленный, превращаюсь в тебя, и не верится,
Что с сердцем, полным тебя, я по воле твоей же пою.

Но не жаль отдавать целый мир за такое соседство,
Беспечален, пою и безропотно подчиняюсь,
Поживи немного в груди моей вместо сердца,
О, бывает ли такая нестерпимая радость

У бедного узника – так мне теперь называться?..
Повелительно шепчут твои губы, а сети волос
Опутывают – и не вырваться, даже если пытаться,
Я в землю вдавлен хребтом, и голос из горла пророс.

И вот я стал кроток и тих, и не пою, а шепчу,
И радость эта летит и нас неслышно венчает.
Что мне жизнь? Что мне смерть? Не знаю и не хочу
Когда-то узнать, что песни другие бывают.

Даже если я пенье прерву и тебя позабуду,
Даже если я пенье прерву и тебя позабуду,
Даже если я пенье прерву и тебя позабуду.

Бату ДАНЕЛИЯ

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Мыслить – прекрасно. Ведь размышленье
Времени может ускорить течение,
В тридцать минут превращает минутку.
Подумал часок – и натикает сутки.
В мысли впусти свои, благоговей,
Радостный свет от Луки и Матфея.
Множит на трон возведенное слово
С хлебом плетенки, сети с уловом...
Вот ты наперсником Зигфрида избран,
Вот поборол ты течение Тибра,
В мыслях ты дерзок, отважен и скор,
Подвиг сверши или выиграй спор!
В мире идей ты от жизни укройся.
Мысли! Реальности больше не бойся!

ГОРОДСКОЙ ДОЖДЬ

Бродит дождь по улицам пустым,
Мокрый сквер читает, как газету.
Гимном для Всевышнего пропета
Эта песня с ритмом городским:
Дождь идет! Я – вместе с ним.

Брызжет сок из перезрелой тучи.
Серый дом, пропитанный уныньем,
Так под стать моей тоске старинной.
Дождик горсти слез своих горячих
Мне дарил. Да, он хотел – как лучше...

Вечный дождь, над городом склоняясь,
Моноotonно шепчет откровенья.
На асфальт роняет ожерелья –
Пусть они, на капли разбиваясь,
Смоют с улиц давнюю усталость...
Дождь идет!

Шота ИАТАШВИЛИ

НОЧЬ

(для Софо, которая в Америке)

Мне ночь – тебе солнце американское.
Мне ночь – тебе платье примерять в супермаркете Монтгомери.
Мне ночь – тебе галдеж и суета вокруг...
Мне ночь – тебе радуга в небесах.
Мне ночь – тебе путаться в километраже,
Мне ночь – тебе знать, что я далеко,
Мне ночь – тебе все мои стихотворенья.
Мне ночь – тебе солнечно по-американски.
Мне ночь – тебе завтракать в одиночку.
Мне ночь – тебе в утренний душ.

СТАТИСТИКА СМЕРТИ

Скончался... Что с того? Подумаешь, умер... Обычное дело.
И дереву суждено засохнуть, и кувшину – разбиться...

Всему положен свой срок: и звездам в агонии взрыва,
 и собакам, протягивающим костлявые ноги...
 Любил... Что с того? Подумаешь!.. Или же
 как не смеяться — до судорог, до удушья, -
 над этим нелепым и обветшалым словом?
 Скажите еще, что он страдал — такие, мол, слухи ходили...
 Нет. Не годится... Лучше простыми словами:
 Так, мол, и так, слыхали? - беднягу сбила машина,
 когда он по улице брел, в раздумья свои погруженный...
 О чем? Да вот, решал — назвать ему сборник стихов
 «Крыльями смерти» - или все же как-то иначе...
 Давайте скажем,
 что не услышал он тормозов смертельного визга.
 Скажем:
 книгу, что вылетела из рук его в момент удара,
 припечатало
 к асфальту...
 Узор из грязи пришелся как раз на название —
 «Искусство любви».
 Добавим, точности ради:
 Эту книгу пятью минутами раньше продал ему букинист, -
 он тут всегда торгует, вон прилавок на тротуаре...
 Можно сказать
 и о содержимом карманов.
 Допустим, следующее:
 пачка «Полета» (а в ней — 17 сигарет),
 билет на «Риголетто» (оперный театр, 31 декабря),
 мятый рубль и монетки в 15 копеек.
 Особо отметим:
 Он был одет в куртку зеленого цвета,
 с дырой на рукаве...
 Из карманов изъято:
 записная книжка (одна),
 ручка (одна),
 мятый платок,
 сложенный лист бумаги,
 исписанный корявым почерком...

 «Петрушка — 2 пучка,
 Реган — 1 пучок,
 Картошка — 3 кг.,
 Лук — 1 кг.,
 Кети — 22 27 39» -

вот что гласила одна сторона листка,
а на обороте:

«На груди твоей пригрелись мои руки,
А теперь они опять заledenели...
Унесу я их в отверстую могилу
И сложу у раскаленной адской печки...»

Все это неразборчиво и несколько раз перечеркнуто.
Там же:
неумелой рукой нарисован веселый плешивый дядька с большим носом...

Ну, кажется, все...
Да, чуть не забыл: бальзамировку делал Артюш,
могилу вырыли Коля, Мурман и Жора...
А мать, с плачем выворачивая его карманы
(к тому времени он был уже переодет
в лучший/единственный — для дней рождений и театров — костюм),
сделала горькое открытие:
«Сынок-то курил, а от меня вот скрывал...»

Некролог опубликовали в газете —
в номере от 28 числа, -
Для панихиды выбрали музыку:
Шопен, Моцарт, Бетховен, Палиашвили...
Похороны состоялись 31-го, в пятнадцать тридцать...
Поминать покойного остались 120 человек.
(Икра на столе была только красная, черной — не достали...).
И эти 120 ушли так поспешно,
едва соблюдая приличия...
Ну да, дома их ждало
совсем другое застолье:
гозинаки, чурчхелы, шампанское и все такое...
Очень некстати был этот покойник
в новогоднюю ночь.
Некстати был
этот покойник.

Георгий ЛОБЖАНИДЗЕ

ПЕНЕЛОПА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Здесь все происходит немного иначе –
 Пенелопа спешит по собственной нити,
 Которую, словно паучья самка,
 Из брюха тянула, чтоб соткать
 Опасные сети дорог.
 Где-то в конце паутинки –
 Ее Одиссей, когда-то в путы путей попавший.
 Он рассказал уже все анекдоты
 Про себя самого...
 Пенелопа же деловито
 Плетет свои сети,
 Слой за слоем
 Они покрывают Землю
 Как бы морской синевой,
 Покрываются рябью надежды...
 Хотя, почему же «как бы»?
 Это, действительно, море,
 Соленое от тех слез, что роняла в него Пенелопа,
 Осознавшая
 Свое одиночество.
 Вот так:
 Поплачет – потом принимается ткать.
 Где-то там, на другом конце
 Паутины-моря
 Одиссей затерялся...
 Пройдет Пенелопа,
 Тряхнет своим брюхом тяжелым,
 Уставшим точить паутину,
 Оплетет Одиссея и скажет:
 - Повелеваю тебе идти за нитью!
 Иди в мои сети,
 Которые мы с тобой породили.

НАТАН БААЗОВ

Поэт, переводчик. Член Союза писателей Грузии, председатель секции русских литераторов. Лауреат Национальной премии им. Г.Леонидзе, Государственной премии в области художественной литературы. Кавалер Ордена Чести. Живет в Тбилиси.

Нодар ДУМБАДЗЕ

ВЗАПРАВДАШНИЙ СЛУЧАЙ

Заклятая курами с давней поры,
страдающая от голода, жажды,
заместо курятника – дверь конуры
лисица открыла однажды...
бесславно закончились лисьи пиры,-
о том догадается каждый!

ПЬЯНИЦА

Выжимки поев от винограда,
с горки тыквой катится кабан...
Сверху козлик смотрит: «Клоунада!..
Нет, пожалуй, свинство – в стельку пьян!»
А кабан с обидой: «Что, ни разу –
пьяного не видел ты козла?»
«как же, сударь, видел: за проказу
вздул его отец, - и все дела!»

ТЕЛЕВИЗОР

«В программе нынче есть кино: о сойке, о вороне сизой...»
«О ком? Не все ли нам равно? Быстрее включайте телевизор!»

Все телевизоры гремят, и дом гремит – многоэтажный.
Ребята смотрят все подряд – с утра в экран уткнулся каждый!

Не верят дети чудесам, но день их весь экраном слизан,
и превратился каждый сам в бездушный ящик-телевизор!

Морис ПОЦХИШВИЛИ

ДЕРЕВЬЯ, ПОЧЕМУ ЖЕ ВЫ МОЛЧИТЕ?!

Деревья! В вас вонзается топор,
вы ж голоса подать не захотели.
Выносите все молча... неужели –
никто из вас не может дать отпор?

У вас, деревья, почву из-под ног
сегодня выбивают. Лес – в покое...
Бастуете безмолвно? Ведь такое
терпенье оценить никто не смог!

Я вижу, к нам вы обратили взор,
к нам тянутся печали вашей нити, -
деревья, почему же вы молчите,
когда в стволы вгрызается топор?!

Варлам ШАДУРИ

МЕНЯ ТЕРЗАЕТ ПАМЯТЬ...

Меня терзает память – одолела,
огонь испепеляет – неземной.
Но борется измученное тело:
Все думаю – что станется со мной?

Судьба в игре выбрасывает кости,
По ним подводит жизненный итог.
Ты можешь перейти висячий мостик,
Сорваться можешь в яростный поток...

Неужто мы когда-то были юны?
Холодный звон услышать я готов.
В душе звенят серебряные струны,
Но гложет песня в топоте годов.

А человеку нужно ведь немного,
Чтоб прошагать свои земные дни:
Любовью озаренная дорога,
Достойных дел горящие огни,

Осколки солнца в этой полной чаше,
Улыбка, не слетевшая с лица,
И пристань на земле родимой нашей.
Затем – покой. И вечность без конца.

Твоя любовь однажды, словно ветер,
Сбежит с горы извилистой тропой
И бросит одного тебя на свете,
Сверкнув во мгле кинжалом над тобой...

Мечтатель! Подчинись воспоминанью.
В тебе навеки остается след –
Того, что было трепетною ранью,

Того, что смыло бурной страстью лет...

ДМИТРИЙ ВЕДЕНЯПИН

Поэт, переводчик. Лауреат премии «Московский счет». Стипендиат Мемориального фонда Иосифа Бродского. Живет в Москве.

Звиад РАТИАНИ

EX VOTO

Пиши, и пусть не верят.
Не смущайся, пиши
о призраках, в которых
сам бы не верил, но.

Пиши, чего не простят.
Бери и пиши,
что ты сам себе Родина
и совесть твоя чиста.

Пиши, и пускай смеются.
Не жди вдохновения, пиши
о каждодневных обидах
и Боге, который молчит.

Что еще? Пиши о любви
и о том, что стихи
сочиняются до,
а читаются после любви.

БРИТЬЕ

Своему отражению в зеркале

Не бойся –
я вижу:
ты не я.

Капелька крови,
проступившая сквозь мыльную пену,

не свяжет нас –
не бойся.

Не бойся –
я здесь, а ты там:
по ту сторону амальгамы,
ты это ты.

Улыбаясь в ответ,
ты всегда немного запаздываешь.

Не бойся –
тебе не придется стареть вместе со мной.

ТАМАРА ГАЙДАРОВА

Инженер. Переводчик научной и художественной литературы. Редактор. Живет в Тбилиси.

Гурам ОДИШАРИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПАТАНАТОМИИ

(из книги «Возвращение в Сухуми»)

Ламара Чиквиладзе умерла в Тбилиси почти через год после того, как оставили Сухуми. Такой же срок отделял ее от момента, когда бесследно исчез – пропал без вести - ее муж Билли.

Я хорошо помню супружескую пару Чиквиладзе. Ламаре было около сорока. Вилли тоже около этого.

После того, как абхазская сторона взяла Гагру, в Сухуми началась паника. По Сухуми поползли слухи, что малочисленные отряды грузинской армии не смогут противостоять атакам со стороны Гумисты, и Сухуми падет.

Люди стали отправлять семьи за пределы Абхазии.

И тогда (как часто, почти на всем протяжении войны) была перекрыта дорога на Очамчире. Радио объявляло, что эту дорогу контролируют абхазские боевики. Сухуми фактически оказался в кольце.

Город оставляли даже молодые мужчины, потерявшие голову от страха. И таких было немало.

Бежать из Сухуми можно было только самолетом или морем.

В переполненном аэропорту иголке негде было упасть. Стоял гвалт, детский плач, брань. Метались люди с расширенными от ужаса глазами.

Самолетов было мало. Самолет только садился, как возле трапа поднимался невероятный шум, вопли, не давали выйти прилетевшим солдатам, не давали друг другу подняться по трапу. По несколько часов шла посадка.

Тогда, чтобы привести людей в чувство, солдатам приходилось стрелять в воздух.

В те дни над аэропортом пролетел дельтаплан и сбросил бомбу. К счастью, бомба разорвалась в стороне от людей, упав на угол здания и обрушив стену.

Рассказывают, что через некоторое время после падения бомбы какие-то злоумышленники открыли стрельбу из автоматов – мол, напал десант. Женщины с отчаянными воплями кинулись к шоссе Бабушера-Сухуми. От женщин не отставали и мужчины. В это время грабители похватали брошенные ими в панике сумки и чемоданы, загрузили машины и скрылись в неизвестном направлении.

Мы решили отправить семьи морем.

Направились к рыбхозу.

У причала покачивалось несколько небольших рыболовецких сейнеров.

Подъезд к причалу был забит машинами.

Вот тогда-то я и увидел семью Чиквиладзе. Вилли я знал и раньше, по городу, а Ламару – нет. Здесь же были их дети, мальчик и девочка, шестнадцати-восемнадцати лет. Вилли провожал семью. Началась посадка на сейнеры. Каждый боялся остаться на берегу, стоял страшный ум. У кого-то в море упал чемодан, кто-то чуть сам не упал. Саломэ и Цисо, ее сестра со своими детьми поднялись на сейнер почти что последними.

Почерневшим солдатам в тельняшках, которые вели посадку, несколько раз пришлось открыть стрельбу в воздух.

Давка на деревянных мостках была совершенно невыносимой. Были и такие, которые прыгали на палубу сейнера прямо с берега, цеплялись за поручни и поднимались на палубу, карабкаясь, словно обезьяны.

Смотрю, Вилли тоже смог кое-как провести на палубу свою семью.

Там же был и Жора Тутисани. Весь в слезах, провожал он свою единственную дочь, воспитанную им почти что без матери (жена у Жоры умерла совсем молодой от сердечного приступа, сам же он погиб в Зугдиди, вскоре после падения Сухуми).

Отяжеленный людьми сейнер тяжело осел в воду до самой желтой ватерлинии, проведенной по борту.

Плакали женщины и дети. Иные глотали слезы, изо всех сил стараясь сдержаться.

Возле гостиницы «Тбилиси» что-то горело - густой черный дым поднимался и расплзался по небу.

Я заметил рядом с собой всхлипывающую цыганочку лет десяти, отец с матерью были уже на сейнере, сама она все никак и никак не могла туда попасть. В это время волны прижали сейнер бортом к покрышкам, прикрепленным к сваям. Я поднял девочку на руки, уперся одной ногой в мостки и подсадил девочку на палубу.

Где война, там цыган не выдерживает, бежит... Цыган и война – несовместимы.

Через некоторое время вижу – та девочка опять на берегу и безутешно рыдает.

Солдат в тельняшке высадил ее – даже если Сухуми и падет, кто же тронет цыганку?

Я опять посадил ее на палубу. Она немедленно юркнула в глубину сейнера и пропала.

В это время к причалу подошли три сейнера, стоящий же у берега застучал мотором. Появление сейнеров успокоило оставшихся на берегу.

Небритый худой парень, который, оказывается, был капитаном сейнера, объявил – пока не войду в мирную зону, рацией пользоваться не буду, кто знает, вдруг противник услышит и пустит вдогонку катер, мы ведь совершенно беззащитны.

Еще немного – и сейнер отчалил от берега.

Море было спокойным, осеннее солнце – ласковым.

Сейнер, заполненный эвакуируемыми – плачущими детьми и женщинами – взял курс на Батуми.

Мы стояли на берегу до тех пор, пока сейнер не скрылся из виду.

Рауль Жвания махал уходящему сейнеру белым платком. До этого я только в кино видел, как провожают пароходы – белыми платками или косынками. Всего лишь через три месяца нашла Рауля слепая пуля. Он испустил дух на руках своих детей, девочки и мальчика, с которыми прощался осенью, стоя на берегу с белым платком в руках.

Я заговорил с Вилли. Глаза его были полны слез.

Мы возвращались с берега с тяжелым сердцем. Еще раз взглянули на море.

Вдали черной точкой виднелся сейнер, у гостиницы «Тбилиси» все так же клубился черный дым. Вечер был с виду спокойным, но чувствовалось приближение чего-то зловещего.

Впоследствии, месяца через три-четыре, я снова встретился с Вилли и Ламарой. Мы ехали «Икарусом» в Батуми, а, точнее, в Кобулет, хотели вернуть в Сухуми свои эвакуированные семьи. Ламара уже возвратилась в Сухуми, но сейчас вместе с Вилли опять отправлялась в Батуми.

Они сидели в креслах передо мной. В глаза бросалось их необычно нежное, трепетное отношение друг к другу. Иногда муж ласково гладил руку супруги, она отвечала ему тем же. Это немного удивляло нас, некоторые из пассажиров испытывали даже какую-то неловкость.

Радио тогда объявляло: «Очамчирскую трассу контролируют грузинские войска». Однако время от времени абхазские снайперы обстреливали автомашины. Путешествие, что и говорить, было связано с риском.

Миновали несколько, так сказать, восстановленных, а точнее, новых мостов из металлоконструкций. Видимо, не имело смысла восстанавливать взорванные и совсем уничтоженные мосты. На трассе, ведущей к Очамчире, особенно на участке Тамыши, никаких признаков жизни. словно призраки, стоят вдоль дороги сожженные дома с простреленными стенами.

Когда мы проезжали через Зугдиди, прохожие на улицах восторженно приветствовали нас, махая руками. Дети кричали: Сухуми, Сухуми!

Я сначала удивлялся, откуда они знают, что мы едем из Абхазии? Причина же была совсем простая и легко объяснимая – лобовое стекло «Икаруса» украшала надпись

красными буквами – «Сухуми». Во время войны междугородние автобусы не заходили в Абхазию. Поэтому наш «Икарус» явился редким исключением.

В Кобулеті, в переполненном эвакуированными Доме отдыха появление нашего автобуса вызвало неописуемую радость.

На следующий день мы возвращались назад. Заехали в Батуми. Здесь друзья Вилли доверху заполнили соляной баки «Икаруса».

Только часть желающих вернуться в Сухуми смог вместить наш автобус, опечаленно смотрели нам вслед остающиеся – ведь мы ехали в Сухуми!

Переполненный детьми и женщинами, затаив дыхание, «Икарус» осторожно проследовал по Очамчирской трассе и вздохнул с облегчением лишь у Кодорского моста.

Правда, в то время город уже обстреливался, то тут, то там рушились и горели дома, но сухумцы все-таки предпочитали находиться в Сухуми, жили там вместе с детьми и думали только об одном – когда же закончится война и восстановится прежняя сухумская жизнь, прежние отношения.

Это было 13 января 1993 года, Новый год по старому стилю.

После этого я не видел семью Чиквиладзе. Но подружившиеся во время эвакуации наши дети продолжали встречаться друг с другом.

Когда 16 сентября абхазская сторона начала штурм Сухуми, Вилли находился в Тбилиси по служебным делам, семья же была в Сухуми. По телефону он едва успел сказать – я еду к вам, и связь прервалась.

Семья Чиквиладзе со своими близкими друзьями оставила город, сумев отправиться пароходом.

Вилли об этом не знал.

Обеспокоенный судьбой детей, он пытался всеми правдами и неправдами попасть в Сухуми, чтобы отправить оттуда семью.

По словам тбилисских родственников, он дневал и ночевал в аэропорту и вроде бы добился своего – смог улететь одним из самолетов, следующих в Сухуми.

Вот и все. Больше о нем никто ничего не знает и по сей день. Вилли бесследно исчез.

В те дни с моря, со своих катеров абхазская сторона сбивала несколько самолетов, заходящих в аэропорт на посадку. Самолетами отправляли в Сухуми и солдат, и боеприпасы, и продукты.

Кто знает, может быть, Вилли был в одном из этих самолетов.

Многие из его близких и не сомневаются в этом.

Но Ламара в это не верила... Она верила, что Вилли жив и вскоре объявится.

А время шло.

Ламара заболела, переживания не прошли без следа, она очень похудела, не спала ночами, ее мучили температура, давление. Она слегла и уже не могла ходить...

Сначала диагностировали паралич, вызванный неврозом, а позже – опухоль.

Оставшуюся без крова, ее приютила республиканская больница. Она жила в палате вместе с детьми. Больница стала для нее и жильем, и лечебницей.

Там же она и скончалась.

Последние дни перед смертью она уже не вспоминала о Вилли, молчала. И не спрашивала – не узнали ли чего-нибудь о нем.

Тихо угасала она на глазах у детей. Жизнь постепенно, подобно песчинкам в песочных часах оставляла ее, она готовилась перейти в иной, потусторонний, невидимый нам мир, без слов прощаясь с этим.

Рядом с Республиканской больницей, в сосновой рощице, находится трехэтажное здание отделения патологической анатомии. Правда, у него есть другое, длинное и трудное для запоминания название, но все называют его патотделением.

Вот из него и хоронили Ламару, другой возможности не нашлось. Как мне сказали, из патотделения хоронили и других изгнанников.

День похорон Ламары. Солнце так и сияет на небосводе.

На небе ни облачка, жарко.

В сосняке стоит приятный аромат, словно курятся благовония.

Поднимаюсь на четыре-пять ступенек, ведущих в отделение патанатомии, поворачиваю направо и вхожу в большой светлый зал.

Посередине комнаты - исхудавшее, измученное, уже успокоившееся тело Ламары.

В комнате полная тишина. Из раскрытых окон, забранных решетками, слышится щебетание птиц.

Подхожу с соболезнованиями к близким Ламары и, уже собираясь выйти из помещения, вдруг застываю на месте – слева, из стеклянной посуды, стоящей на невысоком шкафу, на меня глядит отрезанная голова мужчины с уродливо разинутым ртом... глаза головы полуоткрыты, она не сводит с меня своего взгляда, видны зубы - наполовину выбитые...

По телу пробегают озноб. Мне кажется, что отрезанная голова мне снится, что это – галлюцинация, вызванная игрой светотеней. Напряженно вглядываюсь, но все это – явь, отрезанная голова мужчины средних лет смотрит на меня.

Взгляд мой застывает на одной точке.

Наконец, замечаю, что вдоль стен комнаты выстроились огромные застекленные шкафы. В шкафах полки заставлены стеклянными сосудами, некоторые из них стоят на шкафах.

В сосуды самой различной формы и объема помещены части человеческого тела.

Я оглядываю присутствующих в комнате. Они сидят смущенные, на побледневших лицах – безысходность.

До моего слуха все так же доносится щебетание птиц, Я вспоминаю, что нахожусь в отделении патологической анатомии.

Хочу побыстрее покинуть помещение, но какая-то сила останавливает меня на месте.

Рассматриваю шкафы.

Вот еще одна отрезанная голова, у нее удалена нижняя челюсть. У головы – огромные страшные клыки, зубы – выступающие прямо из неба, глаза чересчур широко расставлены, все лицо похоже на небрежно измятый комок пластилина, верхняя губа покрыта рыжеватой щетиной, лицо с выпученными глазами – лицо чудовища – как бы с иронией глядит на меня.

Отсеченная нога, еще одна, круг перерезанной кости, костный мозг, мясо...

На стеклянных банках – латинские надписи, это, по-видимому, термины, обозначающие патологические изменения.

Плавающие в спирту зародыши, странные, страшные эмбрионы. Сердце необычной формы, разорванное легкое, необычно большие почки.

Ребенок с огромной головой, наверное, полутора или двух лет от роду. В сосуде не хватает спирта, голова наполовину в спирте, наполовину – в пустоте.

Младенец с лицом, искаженным гримасой, приник к стеклу, явно плачет, ручки сжаты в кулачки.

В другой, наполовину пустой банке голова младенца с открытым ротиком запрокинута, он словно смотрит в небо и жалуется Господу Богу.

Я рассматриваю банки и удивляюсь собственному спокойствию.

Сидящие возле гроба женщины и не смотрят на меня, взгляды их устремлены куда-то вдаль. Они где-то далеко, совсем в другом месте, только не в этой комнате! Иначе, им здесь не выдержать...

Мужчина, перерезанный в поясе, с отрезанными ногами. Пустая брюшная полость, член, мне кажется, в животе у него плавают микроорганизмы, черно-зеленые микродракончики.

Отсеченная женская грудь в спирте, пара грудей со вздувшимися сосками!

Крепко обнялись сиамские близнецы, они будто танцуют, как-будто радуются чему-то, что-то празднуют.

В банке с испарившимся спиртом опять сиамские близнецы, уже почерневшие. У близнецов хвост, они лежат на дне сосуда, ко мне задом. Словно призывают – посмотри-ка, как украшает нас этот хвостик.

Тут же рядом еще один ребенок с хвостом...

Галактика, мир, библия, горы, океан, трава, муравьи и люди...

Чувствую, мне сейчас станет дурно...

Выхожу.

В сосновой рощице постепенно прихожу в себя...

Во дворе стоит сын Ламары, он беседует с другом, лицо у него спокойное и просветленное.

В тот день процессия рано покинула больницу.

Судьба позаботилась, чтобы день похорон Ламары оказался не менее ужасным, чем день ее смерти.

Однажды один знакомый врач сказал мне: «Патанатомия – это наша академия, здесь мертвые обучают живых».

Интересно, чему учат живых мертвые? И если они и вправду учат нас, то почему мы такие - потерявшие чувство любви, ненавистники, внутренне опустошенные, вырожденные, место которых в стеклянных сосудах со спиртом.

Немногочисленная процессия направляется к кладбищу.

Солнце все еще светит вовсю.

До сумерек далеко.

Склонив головы, следуют за телом матери дети Ламары и Вилли.

Присмотри, Боже, за сиротами Чиквиладзе, утоли печаль, сохрани навсегда их души такими же чистыми, а лица – нежными, возрасти их в любви и сохрани их любовью, укрась их жизнь встречами с добрыми людьми.

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН

Журналист, публицист, поэт, переводчик. Член редакционной коллегии журнала «Русский клуб». Живет в Тбилиси.

ЗВИАД РАТИАНИ

ДОРОГИ И ДНИ (Фрагменты)

*«Беспорядочное собрание разнообразных мыслей»
Илья Чавчавадзе, «Записки путника», 1861*

I.

(Март, 2003)

Что ни день – на новом месте. Передряги.
В чем-то нравилось, хоть мерз и редко ел.
Так хотел доверить это все бумаге.
Да не вышло, след оставить не сумел.
Но на новых тех местах пришлое иное:
сил прилив-отлив, как будто у волны,
а когда наедине ты с тишиною,
голоса детей услышишь и жены.
И все чаще дежавю. И ощущаешь
беспричинной грусти в сердце жим.
Ощущение, что снова забываешь
что-то главное. И можешь быть чужим,
многоликим... Нет, не для кого-то -
для того, кто жил в тебе, таясь.
В новый город он сумел найти ворота,
вызнал путь, ступил на мост, не торопясь.

II.

(Лето, 2004)

Путешествие на родину. Год третий.
Цель – работа, а в купюрах – результат.
Но не так-то хорошо, коль строфы – эти

и других стихов – вступления хотят.
 Без которого, считаешь, сложно будет
 их прочувствовать. Тем более, когда
 надо вновь и вновь доказывать всем людям,
 что за жизнь свою, меняя города,
 просыпался и в гостиницах, и в семьях,
 но никак к таким ночлегам не привык.
 Утром часто путал место, путал время.
 Был вчера побудкой петушиный крик,
 а позавчера – шум волн... Что было первым?
 Счастья ждал бы от взъерошенных годов...
 Ты ж бессмыслице отдал года и нервы:
 все, что видел в жизни, полюбить готов.

III.

(12 августа, 2003)

Этот край всегда давал тебе возможность
 полюбить его. А выразить в словах
 ту любовь ты мог нечасто... Но несложно
 сделать это, если путь пролег в горах,
 извивается и утопает в лете.
 «Я люблю всех вас, хорошие мои», -
 так и хочется сказать мне селам этим.
 Да и коршуну, у сельской колеи,
 словно темный флаг, зависшему. И склонам
 гор, с которых принесло его.
 Небосводу между этих гор зеленых,
 даже птицам – жертвам коршуна того.
 Взглядом сельская девчонка провожает.
 Радость тихо разливается в крови.
 Вот про боль бы написал. Но не хватает
 слову радости таланта и любви.

1У.

(2001)

Тот, другой, знаком отлично с этой трассой.
 Знает лучший здесь духан. Не на виду.
 Знает он и мест укромных массу,
 чтоб с комфортом справить малую нужду.
 Ну, а ты чему в дороге научился?
 Вот – красивые деревья у плетня,
 вот – погост, травой уже почти покрылся,

вот – сидит на рельсах, стайкой, ребяшня.
 В зимнем море волны холодом играют...
 То – бесплодные картины. Так что, все ж,
 как бы ты их не сложил, перебирая,
 только родины из них не соберешь.
 Тот, другой, все знает – родину и трассу.
 Так пускай тебе расскажет, право слово,
 где поближе ресторан, в котором мясо
 шашлыка и сочным будет, и дешевым.

У.

(«Арго», Малтаква, ноябрь, 2001)

В умывальнике гостиничном, без мыла,
 ледяной водой стираешь ты носки.
 Дождь всю ночь стучал в твое окно уныло
 и, чтоб днем тебе не сдохнуть от тоски
 в размышлениях, куда пойти слоняться,
 хорошо б дождю продолжиться опять.
 А тебе – вдвоем с уборщицей остаться
 и, под байки ее, тихо выпивать.
 В ней судьба смешала русское с грузинским.
 Рассмешит тебя, подлечишься с утра.
 А на разные амурные изыски
 не сгодится эта женщина – стара.
 Унесет она объедки и стаканы,
 Дверь запрешь, хотя гостей совсем не ждешь.
 Для носков сухих ты – прежний, тот же самый.
 Да вот только кем ты сам в себе живешь?

У1.

(Мравалдзали, Рача, июнь, 2002)

Был бы друг с тобой сегодня в храме этом -
 чтобы свечи у икон вдвоем зажечь,
 вместе выйти и, под теплой тенью лета,
 повести «за жизнь», неспешно, речь.
 А потом, уже спустившись вниз по склонам,
 посмотреть, как ярко светится оно
 - на горе, перенасыщенной зеленым –
 того храма белоснежное пятно.
 «Междометие, рожденное пейзажем», -
 ты сказал бы другу, стоя на ветру...
 Но один ты. Не поможет юмор даже
 потеплевшему безбожному нутру.

Остановишься, закуришь торопливо,
 разом вытянешь полпачки сигарет.
 Вот стоишь – спокойный, добрый и красивый,
 а свидетеля тому сегодня нет.

УП.

(Февраль, 2003)

Что ни день – на новом месте. С гор спустился
 в город, где еще ты не был никогда.
 Он никак, нигде, ни в чем не отличился
 и похож на остальные города.
 В той стране, где ты живешь, на самом деле
 города похожи словно близнецы.
 В каждом – улица Девятого апреля,
 в каждом – мэрия, где города отцы,
 в каждом улицы имен Галактиона,
 Руставели... Схожи банк, кино и почта...
 По одной реке, бегущей через мели,
 с темным берегом, замусоренным прочно...
 Крепость местный гражданин тебе покажет:
 «В ней руины гроб Тamar-царицы прячут».
 По секрету и, как другу, это скажет.
 У него, в конце концов, ты купишь чачу.

УШ.

(22 мая, 2003)

Пусть другой теперь ведет твою машину.
 Ты ж скажись больным, кончай рулем вертеть
 и приляг в тиши водителю за спину -
 так, чтоб в зеркале себя не разглядеть.
 Будут слезы – молча вытри, стисни скулы.
 Это хуже, чем обычный груз забот -
 сообщили: мол, никто уже не думал,
 что твой друг и эту ночь переживет.
 А три дня назад, пришлось ему стараться -
 правда, с помощью твоей, но, все ж, сумел
 до своей палаты кое-как добраться.
 Лег, глазами что-то показать хотел...
 Что же, слышать хрип предсмертный, рядом стоя,
 и запомнить это до скончания дней?
 Иль услышать весть, когда он не с тобою?
 Ожидание звонка... Оно – страшней.

.....

НИКО ГОМЕЛАУРИ (1970-2010)

Поэт, переводчик. Актер драмы и кино. Лауреат премии им. Котэ Марджанишвили.

Котэ КУБАНИЕИШВИЛИ

* * *

Хорошо, что у тебя нет бабок,
Не потратишь на беспечный быт.
Хорошо, что в сердце непорядок,
Точно знаешь все еще стучит.
Хорошо, что так болит головка,
Может в ней мозгов немного быть.
Хорошо, что невезуха долго,
Время есть просветы оценить.
Хорошо, что удалили зубы,
Можно попоститься, потерпеть.
Хорошо, что сын ответил грубо,
Самому придется не слабеть.
Хорошо, что не имеешь дома,
Нету кресел, не пылишься в них.
Хорошо, что лоб об стену сломан,
Боль заставит выцарапать стих.

ГЕОМЕТРИЯ

В квадрате мычания
Танцуют тангенсы,
Синус печальный
Конус повесил,
В саду у элипса
Куражатся ромбы,
В кривой треугольник
Посыплются бомбы,
Гипотенуза
Поникшим катетам,

В угол положит
Прямые котлеты.

АННА ГРИГ

Поэт, переводчик. Лауреат Первого конкурса молодых русскоязычных литераторов Грузии в номинации «Художественный перевод». Участница международных поэтических фестивалей. Живет в Тбилиси.

Темо ДЖАВАХИШВИЛИ

время – грампластинка.
станция
метро
и... чуу... чу-чуу...
поезд.
время – грампластинка.
граммофон.
.
Адам – грамигла.

крепко зажмурься и...
спрячься...
раз...
два...
три...
четыре...
играют старики в детскую игру.
раз...
два...
тепло... уже теплее...
горячо... горячо...
раз... два...
крепко зажмурься и...
.
отгородись от всего – что здесь.

дети земли
безо всякой надежды
смотрят на землю.
дует ветер.
а там – наверху – говорят,
кто-то живет (иностранец)...
так говорят...
и задаются вопросом:
это, случайно, не он
подрисовал с восточной стороны
раскаленный диск?

моросит грибной дождь
и облака ушли со сцены
за окном.
с черно-белого фото
нежно улыбается девочка.
а старик уперся лбом в стену
вернее в свою сморщенную руку
и тайком утирает морозящие слезы.

я убийца...
убийца...
убийца мысли
которая
потихоньку
вероломно
по капле
отравляла дни.
я убийца –
я утопил ее в стакане вина.

я маленькая часть тебя
маленькая...
малюсенькая...
и все-таки...

.
 твоя боль – небо
 под которым я хожу
 и оно болит.

уже четвертый день
 единицы
 склонив головы
 и со слезами на глазах
 идя неслышным шагом
 несут гроб с телом
 большой единицы.

.
 а на трассах...
 час пик.

Ника ДЖОРДЖАНЕЛИ

ЧЕЛОВЕК, БОЛЬНИЦА НА ГОРЕ И НЕБО НАД БОЛЬНИЦЕЙ

Из окна была видна больница на горе, -
 страшная больница,
 к которой снизу вели извилистые дороги.
 Жители города не любили упоминать о ней в разговоре.

Когда человек глядел в окно,
 его взгляд невольно находил гору
 и останавливался на здании больницы.
 Он тоже, как и другие, боялся оказаться в ней.
 Только бы со мной этого не случилось,
 - шептал он про себя, -
 только бы не случилось!..

Он не раз думал о том, что, если от его окна идти прямо,
 никуда не сворачивая, т.е. по воздуху,
 понадобится не больше получаса, чтобы дойти туда...
 если от его окна, из которого лучше всего было видно именно ее –
 больницу, расположенную на горе.
 И в ясный день ее было видно прекрасно,
 и в туманный – ее очертания вырисовывались довольно четко.
 Иностранец вполне мог бы принять здание больницы
 За чью-нибудь резиденцию или что-либо подобное.

Однажды человек попал в ее темные стены,
 попал – обычным путем, как и попадают – не по воздуху...
 Там его обследовали, поставили соответствующий диагноз,
 разрезали, а потом поместили в палату,
 пропитанную запахом бульона и ржавчины,
 с почерневшей лампочкой, свисающей с потолка.

Человек еле свыкся с новой обстановкой.
 Он лежал на пружинистой кровати,
 и какое-то время пытался отвлечься чтением газет,
 и даже заполнил кроссворд,
 но скоро его охватили сильные боли
 и состояние человека резко ухудшилось.

И однажды ночью он стал вспоминать, как
 смотрел из окна на эту больницу,
 в которой все-таки оказался.
 Он насилу поднялся с кровати,
 опираясь на предметы, кое-как дошел до окна
 и кинул взгляд на пылающий раскаленным углем ночной город.
 Город для него теперь был усеянным звездами небом.
 И стал человек искать в нем свой дом,
 но не нашел среди несметного количества других звезд.
 И, когда его неожиданно выписали,
 то он вернулся домой той же дорогой, какой ушел из дома.
 С тех пор человек не переставал смотреть из окна
 на небо над больницей – небо, которое раньше не замечал,
 замороженный тем, что было под небом.

MOON RIVER

Войдем вместе в эту лунную реку,
 искупаемся в ее прохладных водах,
 в ее спокойных волнах!
 Она течет в воздухе – сверху вниз,
 оставляя землю сухой.

Войдем вместе в эту лунную реку!
 В ней летают рыбы
 и распускаются цветками водные растения.
 Ты войдешь в нее, и мы сможем пить лунную воду.

Войдем вместе в эту лунную реку!
 И я заставлю срастись твое
 некогда разбитое сердце:
 я разобью его по-своему и залечу.

Войдем, не стой же в нерешительности,
 потому что нет больше нигде лунной реки.
 Это единственная, и в эту единственную лунную реку
 зову тебя с собой я – лунный мужчина.

Войдем в нее, не бойся:
 ты не утонешь, но уже никогда не захочешь
 выходить из этих вод и даже
 не захочешь выйти на берег.

А мне порой придется – очень редко.
 И каждый раз – да – только скрывшись с глаз,
 я сразу буду возвращаться,
 неся тебе привет от солнца.

Эка КЕВАНИШВИЛИ

Я, ТВОЯ ПАНИ

Улицы здесь широкие – мне места хватает.
 Голубоглазые, золотистого цвета поляки
 вежливо нарекли меня “пани” и всунули в руки карту
 – наисложнейшую кардиограмму своего города:
 “так ты найдешь кратчайший путь к нашим сердцам”.
 Я, твоя пани, стою посреди чужого, осенью-постаревшего
 города, сличаю пальцы с перчатками, которые собираюсь
 тебе купить, и протягиваю свое запястье – вместо твоего –
 продавщице часов, чтоб заново начался о т с ч е т.
 Взгрустнулось. Присела на воспоминания старого города,
 хочу выпустить отсюда голубей с посланиями.
 Здесь мосты длинные... Я напишу тебе.
 Твоя пани пытается подрисовать каждой улице, на которую
 она попадает, твой тупик - со всеми взваленными на него
 этажами каждого дома.
 Поминутное “спасибо-извините”, беспричинная улыбка –
 все это придется таскать с собой по кафе еще десять дней,
 потом – определять безумие шагов по степени печали

и ставить диагноз городу по его кардиограмме, на последнем пике которой я поскользнулась.

По поставленному мной диагнозу, без тебя этот город – самый мертвый город на земле.

КРЕЩЕНИЕ

В чугунном котле, стоящем на огне, кипят оставленные мной годы.

Как украшение – сняла я с себя каждый месяц, каждого человека. Ты тоже сорвал с себя былые страсти – как доспехи. Мы оба пошли на уступки.

Пусть не думают, что тут колдовство,
- глядя, как я крещу зло, добавляя в котел натертое серебро.
Я тебе обещаю:

молочный брат мой,
и в печали, и в радости,
и в богатстве, и в бедности –
я люблю тебя.

Заимствую кадры из свадебного ритуала квакеров.
Могу встать перед тобой на колени и стоять так целый час.
Самыми белыми одеждами и тишиной – как паутиной –
могу заполнить пространство между нами.
Когда мне будет сто, в длящемся целый час безмолвии
я поклянусь:

пусть предначертано тебе осиротеть,
о дом мой,
и в сезон дождей, и в засуху,
и даже после того, как созреют на мне плодами дети, -
я люблю тебя.

У чугунного котла шепчу молитву в тон с шипением
перевариваемых наших грехов.

Будь то прошлое или будущее,
в чистом ли поле, или на откосе,
здорова ли, больна ли, -
я люблю тебя.

Пусть не думают, что тут колдовство, глядя –
как крестим друг друга любовью
и – для твердости духа –
по капле добавляем себе в кровь серебро.

УЖЕ ТРИ МИЛЛИОНА ЛЕТ

Зачем в нас стреляют отравленными стрелами,
о мой первенец, рожденный в пещере?
Нет дверей у нас, а льет как из ведра.
Землетрясение рушит стены, на которых –
то набрасываем план охоты, то царапаем профили
друг друга. Летом спим на мху, зимой – на шкурах.
Рыбу ловим на копье. Говорим слогами.
Разводя огонь, натираем пальцы, а потом –
облизываем их, и боль проходит.
Ты нанизываешь для своей женщины ожерелья из клыков,
она же одевает тебя в меха.
Зачем завидовать первобытной любви? Что у нее можно
отнять?

Может, мы слишком шумные для каменного века?
- Может, оттого что два существа разных племен
– цвета воронова крыла и пшеничного цвета – поселились
в отдаленной пещере?
Что такого в том, что: в прозрачном озере – нашем зеркале –
мы целуемся и, увивая друг друга телами, опускаемся
на самое его дно.
- Чтоб быть посмелее!
- Чтоб быть вместе!
- Пока не станет невозможно дышать!
Потом опять вверх.
И нам, вернувшись на землю, кажется странным,
что сердце не прекращает биться – когда мы засыпаем.
Нам кажется странным, что прибывает в глазах вода –
когда один из нас не приходит в пещеру вовремя.
Что, повторяю, можно отобрать у тех, кто так живет –
в такой нужде?

КТО ПРИДУМАЛ?

Кто придумал дарить цветы мертвым?
- Живший в каменном веке самый первый влюбленный
мужчина, который, согласно сочиненной мной легенде,
нашел – по аромату – юную девушку, но – всего за один день –
она состарилась и умерла на поле, покрытом цветами.
Это была первая на свете умершая женщина.

Цветы, на которые она упала бездыханной,
пристали к ее груди.

- Это и было первое на свете платье. - Самая ранняя мода.

В таком наряде тело предали воде.

И с тех пор никто уже не представляет себе умершего
человека без цветов.

С того самого дня и повелось вплетать цветы в косы.

Спросить хочу – почему ирис связывают со смертью?

Неужели же самый первый, плетенный из лиан гроб вдруг
зацвел?

А гвоздики – за что их вечно бросают на землю и безжалостно
топчут при проводах умершего в последний путь?

А дети? Крошечные существа с важной миссией, вцепившиеся
в огромные венки...

У меня тоже онемели руки, когда я шла по твоей улице, пытаюсь
сберечь гвоздики.

Согласно другой легенде, от смерти в комнате вдруг стало так
темно, что испуганные домочадцы сразу же зажгли кровавые
гладиолусы и повсюду их развесили – на потолке, на стенах,
в коридорах. Кровавые гладиолусы – кричащий макияж смерти,
засыхающий на полдневном солнце...

В моей легенде мне так не хотелось надевать платье каменного века,
что, даже запутавшись, убегая, в кустах дурмана – свисающих со
склона, я все-таки сорвалась вниз и завлекла смерть резким запахом.

А там был ты, чтобы укутать меня – в изорванном платье – в бледно-желтые
Хризантемы.

Паата ШАМУГИЯ

СПИСОК

(отрывок из поэмы)

я пишу о тех,
кто сделал жизнь
необходимой и заметной, как дорожные знаки,
кто спустил десант страха в наши глаза
и между снами

рекламной паузой встроил
 страх услышать стук.
 кто развел в наших глазах отчаяние и бессилие,
 как породную птицу,
 кто развел смерть,
 и развел радость,
 и развел боязнь победы,
 кто заселил спячкой нашу изъеденную плоть,
 и нанизал сны, как бусы, и подарил их нам на память,
 кто выпрыгнул из одного сна
 и не успел добежать до другого,
 кто измерил расстояние от утра до ближайшего города,
 и заминировал улицы весной,
 и предоставил больше возможностей для авантюр,
 кто никогда не был патриотом
 из-за высокого самомнения,
 и, несмотря на это, все же пошел воевать
 и потерял ногу,
 и перспективу когда-нибудь жениться,
 и сигареты «Космос»,
 выпавшие из кармана брюк,
 когда бежал он по объятому пламенем лесу,
 кто столько бодрствовал, что
 и сейчас спит и видит, как спит.
 кто увидел сон, где его красивая жена
 была оскорбительно красивой,
 и, не выдержав этого, проснулся.

о них я и пишу – об этих людях.

СИЛЛОГИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

мать, отец,
 с сегодняшнего я буду заслуживающим одобрения сыном
 с достойными манерами,
 не отступающим от устоявшихся универсальных правил,
 а мои прежние выходки
 накроет тенью прошлое
 (из-за них мне и так неловко).
 найду себе порядочную и симпатичную жену,
 и мы родим по меньшей мере трех детей,
 если же Бог будет милостив,
 то столько – сколько он даст

(в свою очередь и я буду «работать», чтобы подсобить Богу).
 буду писать хватающие за душу лирические стихи
 и завяжу с социальной сатирой,
 перестану издеваться над родиной,
 потому что родина – это святое,
 а народ мудр
 (что, конечно, не одно и то же,
 но фольклорный раствор коллективной логики
 крепко связывает и объединяет,
 а черт разъединяет,
 что, естественно, также две разные вещи,
 но божественная мудрость дается нам намеками,
 чем разрушает все ожидания любителей корреляций).
 и вообще я буду намного симпатичнее
 и наберу вес,
 ибо, согласно философскому дискурсу Гиглы Тварадзе,
 уважающий себя мужчина
 должен весить по меньшей мере 75 килограммов,
 и иметь рост метр 80,
 и быть здоровым,
 чтобы дать отчизне биологический урожай – детей,
 и быть солью мира сего,
 и быть бодрым и отважным,
 и не страдать сколиозом,
 и иметь все зубы на месте,
 тем более те, которые видны при смехе,
 и вообще уважающий себя человек должен быть симпатичным,
 а я бессовестно вешу 65 кг,
 что само по себе является доказательством бесстыдства,
 и даже если б не так, все равно, несмотря на худобу,
 я угловат в движениях, как Бальзак в своих фраззах,
 и не такой уж симпатичный.
 а ведь, Бог свидетель, я хотел жить правильно,
 но, видно, ничего не выйдет.

И ВНОВЬ О ТОМ, ЧТО СМЕРТЬ НЕ К МЕСТУ.

**МЕНЯ ВДОХНОВИЛА РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ Я МЕСТАМИ
ПРИУКРАСИЛ НИЧЕГО НЕ ГОВОРЯЩИМИ МЕТАФОРАМИ**

незачем умирать,
 есть более цивилизованные способы
 успокоить совесть,

например, написать стих,
 пусть даже плохой
 (но и не настолько, как этот),
 пожаловаться на тщетность бытия,
 отправиться на шопинг, или по нужде, или в космос,
 и ни в коем случае не отправляться к праотцам.
 смерть в действительности очень асексуальна,
 даже не знаю, кого сегодня можно ею соблазнить,
 разве что какую-нибудь почтенную восковую даму
 с атавистическими наклонностями,
 ну а нормальные женщины и бровью не поведут
 в ответ на подобное банальное поведение.

однажды во время поездки на автобусе № 61
 женщина, бравшая себе билет, умерла.
 вот так вот бессовестно взяла и умерла.
 «какое бесстыдство», - подумал я,
 и запасенная моими глазами кровь
 излилась в зрачки
 проявлением жалости и бессильной ярости.

Эрекле ШВЕЛИДЗЕ

некоторые из вещей
 обладают особенной хрупкостью,
 очарованием, которое не объяснить умом
 и которое так пленяет,
 что, кажется, будто счастье диктует себя,
 а ты просто соглашаешься
 и в то же время сливаешься с ним,
 а оно – с тобой.
 в такие мгновения ощущаешь весь мир целиком
 и понимаешь
 что ты – в каждой вещи
 и каждая вещь – в тебе.
 скажите:
 разве тогда для зла остается место?

ТЕМО ДЖАВАХИШВИЛИ

Поэт, художник. Участник международных художественных выставок. Живет в Тбилиси.

Это не стихотворение...
 Это – операция на аппендиксе.
 Это – дурного сна прибытие с текущей водой.
 Это – прятки за зеркалом.
 Это – нервная дрожь.
 Это не стихотворение...
 Хотя – главное все же то, что...
 Когда в твоём драгоценную голову
 Темные мысли файлуешь...
 Крылья твои уменьшаются.

Где то – там...
 Где то – там...
 Там – та рам!..
 Там – та рам!..
 А здесь молчит...
 სდუმს გული.
 Буль – Буль...
 Буль – Буль...
 Булбули.
 А там... а там...
 Где то – таммм...
 Трам – та там!..
 Трам – та рам.

* სდუმს გული – Молчит сердце

Сегодняшний день – солнце опять выдает свои кредиты.
 Из старого комода рождаются лживые идеи...
 Червовые ублюдки...
 Колонны улиток, которые направляются ниоткуда в никуда.
 А крутые отброски ходят в тяжелых сапогах ... тяжелыми шагами
 И агрессивно... и цинично бурчат -----
 Храш!..
 О о и и й!.. Извините.
 Случайно получилось . Простите!..
 Храш!..

Хруш!..

Хрчи!.. Хрчи!.. Хрчи!..

Перевод автора

КЕТЕВАН ДЖАНДИЕРИ

Дато ТУРАШВИЛИ

ЧЕМПИОН

Когда я впервые, еще молодым, прочел «Завтрак чемпионов», я сразу понял, что Курт Воннегут сам был чемпионом, и потом, когда я полюбил и другие его книги, окончательно уверился, что труднее сохранить чемпионство, чем стать чемпионом, как это делал Курт Воннегут на протяжении всей жизни.

Таких людей в мире очень мало, и, когда я ехал в Штаты, не мог представить, что лично познакомлюсь с любимым писателем. Поэтому у Сухого моста, в американском посольстве, когда на собеседовании меня спросили, с каким американцем я пожелал бы встретиться, я в первую очередь вспомнил совсем другого чемпиона и назвал Тома Вейтса. Но разве тогда я мог знать, что познакомлюсь с самим Воннегутом 10 сентября 2001 года, точно за день до бомбардировки Нью-Йорка.

Это правда было очень впечатляющее зрелище - в Университет Айовы, чтобы увидеть Курта Воннегута, его читатели приехали не только из близлежащих городов, но и из соседних штатов. Огромнейший зал Университета не смог вместить всех желающих присутствовать на встрече, и сотни людей остались снаружи.

Люди стояли во дворе Университета Айовы и с помощью выставленных репродукторов, затаив дыхание, слушали любимого писателя. Тогда я в первый раз увидел нескончаемо длинный ряд людей в ожидании автографа с книгами Воннегута в руках. Такое отношение к писателю настолько подействовало на меня, что в тот же вечер я позвонил в Тбилиси Гио Ахвледиани и захлеб рассказал о том, что увидел. Когда я вздохнул, Гио рассмеялся: – Ты, видно, уже не помнишь тот снимок, на котором Акакий Церетели во время путешествия по Рача-Лечхуми стоит в кругу детей, а те танцуют «перхули». А потом добавил: - Когда мы были в Лиссабоне, Жозе Сарамаго шел пешком, и, чтобы его увидеть, на улицу вышло столько людей, что они перекрыли улицы, как происходит у нас при появлении президентов...

Вставать в очередь для того, чтобы увидеть Воннегута, не имело никакого смысла, поскольку ректорат Университета, как это предусматривала наша программа, устроил нам, участникам семинара, отдельную встречу с писателем.

Встреча состоялась поздно вечером (так как Воннегут на следующее утро возвращался в Нью-Йорк), однако писатель был очень уставшим, и мы скоро

разошлись. А на той встрече перед многотысячной аудиторией, до того как выслушать вопросы читателей, Курт Воннегут обратился к ним: – Если среди вас случайно есть девственница, пусть поднимет руку. И, конечно, все рассмеялись. Совершенно реально, что среди тысяч девушек (тем более американок) было несколько девственниц, но в зале руку никто не поднял, и поэтому никто и не узнал, что этим хотел сказать американский писатель, чье чувство юмора всемирно известно. Более того, в Америке и во всем мире его огромную популярность определяет именно необыкновенный, в самом деле сказочный юмор. И для меня сегодняшнюю Америку открыл именно Курт Воннегут, а не Колумб, Магеллан или Веспуччи, и думаю, что хорошую страну создают ее лучшие писатели.

На второе утро (после того, как я увидел собственными глазами лучшего американского писателя), ко мне пришел Бен Райс: - Пойдем играть в футбол. И мы разбудили Рокко. Спускаясь по лестнице, Карбоне сказал: - Какой мы шанс потеряли вчера, мы же Курта Воннегута больше никогда не увидим, и прибавил какое-то итальянское слово, выражающее сожаление.

По дороге к футбольному стадиону мы должны были пересечь одну улицу, однако, выйдя из здания, и шагу не смогли сделать – перед зданием один-единешенек стоял Курт Воннегут и нервно курил. Бен Райс, вероятно, от того осмелел, что все же был англичанином – подошел к Воннегуту и попросил сигарету. Мы тоже пошли за ним, и Воннегут всех нас троих оглядел. Мы были в трусах, одеты, так сказать, по-спортивному, он же - в синем клубном пиджаке и заложенным за воротник крепдешином (это слово я помню от моей бабушки). Между прочим, другого человека, одетого с таким вкусом (по-южноевропейски), я в Америке и не видел.

Опять Бен Райс оказался молодцом (раз уж осмелел): – Мы тоже писатели. И мы все четверо улыбнулись. Он всем по очереди пожал руку и спросил имена. Мы вместе с именами назвали и страны, откуда приехали, и, вероятно, живого грузина он видел впервые, поэтому особенно пристально уставился на меня. Я сказал, что его книги переведены и на грузинский язык, и они есть у меня в комнате, поднимусь и принесу. - Если успеете хорошо, сказал Воннегут, - но я уже еду в аэропорт, и тот, кто должен меня отвезти, с минуту на минуту появится. Тот, кто должен был везти Курта Воннегута в аэропорт, стоял в фойе, я его легко определил, так как в предыдущий день этот человек не отходил от писателя и сейчас смотрел на часы. Изданную же на грузинском языке книгу Воннегута «Вербное воскресение» (которую одолжила мне Манана Цхакая), я быстро принес из комнаты и показал автору, но не сказал ему, что тот человек ждет в здании. А зачем я должен был говорить? Может, я ошибался.

Воннегут с улыбкой посмотрел на маленькую книжку с собственным фото на обложке, потом перелистал, очень внимательно всмотрелся в грузинские буквы и неожиданно сказал:

- Is it Stalin`s native language?

Я кивнул головой и не стал объяснять, что, несмотря на грузинское происхождение, Сталин родным языком считал русский.

Потом он опять пристально всмотрелся в обложку, положил указательный палец на свое фото и сказал:

- So young here...

Я еще раз кивнул головой – на обложке книги сорокалетний Воннегут и правда выглядел молодым, и сейчас писатель внешне довольно сильно отличался от фото автора с черными усами. Сейчас усы были ярко-желтого цвета (наверное, от никотина), и он отвечал на вопросы Рокко Карбоне. Рокко (почему-то) пристал к нему с Керуаком и спрашивал у Воннегута все, что его интересовало о Джеке Керуаке. Думаю, что даже лишнее сказал, так как господин Курт заметил, что Керуак в конце концов сошел с ума – два последних года жизни был зациклен на том, что с ним как с любимым американским молодежным писателем, кумиром и лидером, борются Москва и Кремль. Потом Воннегут добавил, что Джек Керуак сам лично сказал ему об этом такими странными фразами: – Кремль и Москва боролись со мной рукой Гинзбурга, Алан Гинзбург был агентом Кремля, и Москва старалась с его помощью «завербовать» Керуака.

Мы не поняли, почему Гинзбурга выставили стукачом, какая версия была правильной - Воннегута или Керуака, и еще раз взяли по сигарете у американского писателя, который с уверенностью сказал, что в Америке женщины сильнее мужчин и их ошибочно называют представителями слабого пола: то, что выносит женщина, не вынесет ни один мужчина и гегемония мужчин - мифическое явление. Женщины лучше и легче, чем мужчины, переносят холод, голод и всякую боль. После секса для мужчины самое дорогое - молчание, для женщины же, наоборот, самое желанное после оргазма - услышать от мужчины хотя бы одно ласковое слово, и недавно Милош Форман сказал: мужчины потому предпочитают мастурбацию, что ленятся произносить ласковые слова, и они такие слабые, что даже на слова сил не хватает.

Я очень громко, от души рассмеялся, а Воннегут посмотрел на часы: – Я много чего рассказал бы вам о женщинах, если не опаздывал в аэропорт. Хотя человек, который ждал Воннегута внутри здания в фойе, и был американцем, но рано или поздно и он бы догадался, что должен выйти наружу, поэтому я поторопился спросить о том, что меня больше всего интересовало – правда или нет, что сын Воннегута так избил русского поэта Евгения Евтушенко, что даже самый преданный читатель не смог бы его узнать, и Воннегут улыбнулся:

- You hate Russians?

Не знаю, почему он подумал, что я не люблю русских (как раз наоборот). Я покачал головой:

- I don't like Soviets.

Не знаю, понравился ему мой ответ, не знаю, любил ли он говорить на эту тему, но факт, что он вовсе позабыл о самолете (по крайней мере на время) и с таким удовольствием рассказал нам историю встречи своего сына и Евтушенко, что у него явно были заранее обработаны все детали.

Русский поэт и сын американского писателя встретились друг с другом в Бразилии, на Амазонке, и причина драки была очень простой – сын Воннегута со своей яхты (катарги) передал Евтушенко бутылку виски (на соседнюю яхту) – в знак

уважения. Однако русский поэт, опустошив подаренный виски, потребовал от сына Воннегута вторую бутылку, а получив отказ, очень рассердился. Сын американского писателя вначале спокойно объяснил русскому поэту, что у него была единственная бутылка виски, и ту он уступил русским только лишь с добрыми намерениями – выразить собственные благожелательность и уважение к развевающемуся флагу на соседней яхте. Однако Евгений Евтушенко уже был пьян и упрямо требовал у буржуя-американца еще одну бутылку и подчеркивал, что он русский поэт Евтушенко и что он требует то, что ему принадлежит. Сын Курта Воннегута долго терпел, пока в конце концов не разгневался и не сказал страшную фразу: – То, что ты Евтушенко, мне до фаллоса. И обеими руками сделал соответствующий жест (в действительности мы эту страшную фразу не только не перевели, но даже довольно смягчили, а в действительности сын Воннегута по отношению Евтушенко был более безжалостным, чем это может вытерпеть уважаемый читатель: “suck my dick!..”).

Обиженный Евтушенко ту, пустую, бутылку виски, бросил по направлению к американской яхт (слово «катарга» употреблял и Руставели), и тут сын Воннегута уже не смог себя сдержать (“такая кровь у нас, у Воннегутов”) и перепрыгнул на яхту русских. Повалил русского поэта и бил его столько, сколько не попадало даже русскому барабану (этим дебильным, времен нашего советского детства, сравнением, я помог Воннегуту-отцу).

Когда Евтушенко протрезвел и пожаловался на напавшего, лишь тогда и установил его имя. А несколько лет спустя, в Нью-Йорке, встретив его отца, упрекнул то, что тот воспитал недостойного сына.

Курт Воннегут и в Айове, рассказывая нам эту историю, был возмущен упреком Евтушенко и даже оправдывался: – Я не побил бы русского поэта, ведь американская литература больше всего обязана литературе русской. Потом оглядел пустую утреннюю улицу и сказал: – Здесь, в Америке, об этом говорить вообще не любят, однако в действительности американская литература двадцатого века началась и развилась из русской литературы девятнадцатого века...

Я тоже посмотрел на пустую утреннюю улицу и очень захотел, чтобы сотни читателей Курта Воннегута, которые вчера стояли в длинной очереди за его автографом, сейчас бы увидели, как их любимый писатель столько времени потратил на беседу с нами.

Потом Рокко упомянул Моравиа (уже не помню почему), может, было и наоборот – Воннегут упомянул Моравиа, и у Рокко Карбоне заблестели глаза. С такими восторженными глазами он, наверное, до конца и слушал бы, если бы Бен Райс (самый смелый среди нас - все же англичанин) не вмешался бы в беседу и не вставил свое слово. Как я заметил, Воннегут на любую тему мог говорить бесконечно и не очень беспокоился о самолете – лишь один раз упомянул Нью-Йорк, и я при этом упоминании сказал, что как только приеду в Нью-Йорк, сразу же навещу могилу Довлатова. Он ответил, что никогда не был на могиле Довлатова и не знает, где его похоронили. Я даже подумал, что предложу вместе пойти на могилу Довлатова, однако ничего не сказал, потому что, во-первых, ну что за уважение было приглашать классика на кладбище, и, во-вторых, может, он вовсе не любит (в

отличие от меня) навещать кладбища и читать надписи. Хотя при упоминании Сергея Довлатова он все же явно обрадовался, улыбнулся и спросил:

- Do you like his stories?

- Да, – сказал я, довольный тем, что беседовал о писателе, о котором знали лишь мы двое и более того: в отличие от Рокко Карбоне и Бена Райса, Курт Воннегут не только хорошо знал творчество Довлатова, но именно по его рекомендации рассказы эмигранта Довлатова издали в Америке тогда, когда он для круга западной литературы был неизвестным автором. Я был доволен еще и потому, что раньше Бен Райс назвал Воннегута такие две фамилии из современной английской литературы, упоминание которых мне ничего не говорило.

А в тот момент, когда я спросил у Курта Воннегута, знает ли он что-либо о грузинской литературе и он в знак отрицания покачал головой, и появился тот расстроенный человек, который ждал его в фойе и который должен был повезти Воннегута в аэропорт. Удивленный, он с распростертыми руками выбежал на улицу и быстро посадил Курта Воннегута в длинную американскую машину. Поспешно тронул машину, и мы лишь взмахом руки успели попрощаться.

Мы довольно долго неподвижно стояли и молчали.

В тот день в футбол не сыграли, поехали в Даунтаун и выпили длинный тост за Воннегута.

На второй день наступило именно то утро, которое стало самым трагичным для американцев – когда до девяти часов оставалось десять минут, очень взволнованные хозяева разбудили нас и собственноручно включили телевизоры. На экране происходило что-то ужасное: террористы самолетами атаковали известные высотные башни-близнецы нью-йоркского торгового центра. Я инстинктивно позвонил в Нью-Йорк, к знакомым грузинам, чтобы выяснить, были ли грузины среди погибших. Один мой друг (живущий в Нью-Йорке) сразу успокоил меня: – Ну-ка ты сам подумай, какой грузин пришел бы на работу за пятнадцать минут до начала.

В полдень Рокко сказал – Воннегут живет на Манхетене, позвоним и узнаем, как он. Американкой, которую я больше всего хотел увидеть, хотя бы для того, чтобы выразить соболезнование, была Пиета Браун, однако Бен Райс с таким энтузиазмом согласился с Карбоне, как будто ближе нас троих у Курта Воннегута никого не было. Мы узнали номер и позвонили.

Ответила его жена. Мы спросили о писателе, и она очень спокойно сказала – мой муж спокойно спит, даже не проснулся и ничего не знает. Ничего не было странного – это грузинским писателям трудно заснуть без тазепама, а американские писатели и, тем более, Курт Воннегут, могут спать спокойно...

АДА ДЖИЛАВДАРОВА

Поэт, переводчик. Художник-аниматор. Член редколлегии периодического издания «Лист О.К. АБГ» Ассоциации литераторов – АБГ». Живет в Тбилиси.

Зураб РТВЕЛИАШВИЛИ

ШУМ

золотой ветер в тишине
 золотой ветер
 тайно шепчу желание
 остаться в этом шатре
 не играть с мелкой зыбью
 в золотой воде
 тайно шепчу желание
 обратить в золото
 воду и ветер
 заплетать с легкостью ветра
 косы дорог...
 непроходимые чащи
 будят желание...
 золотой ветер в тишине
 золотой ветер
 вливаюсь счастливый
 в шальные потоки
 пусть не пробиться мне
 золотым лучом
 к развилкам дорог
 пусть душит желание
 не заполнить золотую тишь...

дереву тень сопутствует
 поэту – стих
 ногам – движение
 ангелу – крылья
 монаху – библия
 храм женщины – шкаф
 за шлухами его дверьми
 ее молитву прячет домовой

Киртан – Ашраму
 Хари – Кришне
 палачу – топор
 любви – секс
 когда на море
 не утихает шторм –
 спокойно молись царица

только тебе понятен
до невозможности простой
язык моего тела.

Майя САРИШВИЛИ

Нет, не получится так –
хоть выверни лес,
не найти корня.
Не укорененный в земле мир,
Как кошмарный сон.
Города – без фундамента,
Моря – застыли железной рудой
И скользят по ходу земли,
Словно гигантские лезвия,
Скользят бесконтрольно...
И все мы так яро, с упорством
Вытягиваем из тел
По одной – благородные жилы.
И скоро, так скоро... Мгновение – и
Даже жалу пчелы не впиться будет
В наших детей из фарфора,
Восседающих на полированных роялях.

Как убедителен покой,
когда он окружен домашними вещами.
Такие низкие мечты,
им не перелететь через телевизор,
через тумбы и табуретки.
Как отгородила себе
Такую правильную, приличную жизнь.
И никому не увидеть
Пощечин-секунд, что бьют по щекам –
По правой, по левой, по правой, по левой,
Быстро-быстро, все быстрее и быстрее.
И разлетаются в разные стороны звуки
Из уст моих, как бадминтонные воланы,

Разорвавшиеся и потерявшие друг друга...

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Поэт, прозаик, режиссёр, сценарист, публицист, актёр. Кавалер Орденов «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, «За заслуги перед Отечеством» III степени. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии России, Национальной премии «Поэт».

Эмзар КВИТАИШВИЛИ

ПТИЦЫ

Нам только кажется,
что птицы умирают.
Мы видим только оболочку птичью,
и догадаться мы не можем вовсе,
как впитывает их в себя лазурь,
и мы глядим на их упавший пух
с прилипшими кусочками лазури,
чему-то удивляясь навсегда.
Но пусть никто не верит смерти птиц.
Наверно, нас обманывает небо.
Оно, как будто свернутый в спираль,
расплавленный хрусталь, такой лукавый.
Попробуй-ка пробраться сквозь него.
Не проникает навощенный взгляд
сквозь небо в пробуравленные дыры.
А птицы любят, выстроившись в ряд,
пробить в полете клювами пространство,
не собираясь возвращаться к нам
оттуда из блестящей пустоты.
Когда мы видим птиц, упавших вниз,
разбившихся о скользкий нос машины,
окоченевших или ослабевших, -
то, что мы видим, - только тени их.
А сами птицы умирать не могут.
Бывает, что их мертвые тела
смешают по оплошности с бетоном,
и крылышки их светят из асфальта,
как отпечаток древнего листка.
Но и тогда в расстройство не впадайте —
все это только видимость их смерти.

Речные камни тянут птиц к себе.
Они так любят перья окунать
в светящиеся струи,
и порой
в камнях застрянет с криком трясогузка.
Внимания не надо обращать.
Не может с птицей что-нибудь стрястись,
что не напрасно было бы должно
в нас вызвать человеческую жалость.
Могу еще припомнить кое-что.
Однажды в прачечной одной увидел я
два чучела, подернутые пылью,
ничком упавшие.
Но я не обманулся,
когда я твердо знал, что эти две,
казалось, неживые перепелки
в мгновение то же самое бредут
в траве высокой у горы соломенной,
и в них бессмысленно стреляет кто-то вновь,
не зная, что убить их невозможно.
А как-то, у витрины магазина,
валялся стриж, подкошенный, быть может,
таким внезапным солнечным ударом.
Один лишь я того стрижа заметил,
совсем не испугавшись, что он мертвый.
Другие бы заметили – конечно,
немедленно за мертвого сочли.
Клюв птицы ткнулся в жухлую траву,
весь капельками извести покрытый,
и веки известковые дрожали,
сползая на большие, человечьи,
темнеющие медленно глаза.
Вы видели, наверно, как скалу,
остроугольно врубленную в море,
обходят с оголившихся боков,
приберегая крылья, воробы?
Я зависть ощущаю только к птицам.
О, если б знать, какими видят нас
они, когда летят над нами в небе!
Ты не грусти.
Не верь, что смертно все.
Нам только кажется,
что птицы умирают.

Фридон ХАЛВАШИ**В ЭГЕРЕ**

Как будто дыма столб окаменелый,
встал минарет в Эгере онемелый.

Тень тяжела, как будто крик в столетья,
которого не ждет никто на свете.

Мечи, среди руин мерцая редко,
отточены костями наших предков.

Мечи, заснув сейчас в чертополохе,
когда-то окровавили Чорохи.

Но нравится мне все-таки при этом,
что бережно следят за минаретом.

И память про несчастнейшие годы
в нас укрепляет вечный дух свободы.

Джансуг ЧАРКВИАНИ**НАДПИСЬ НА БЕЗЫМЯННОЙ ПИРАМИДЕ**

Тело мое
ослепло и раскололось.
Все раскололось –
и плоть,
и душа,
и голос.
Перед вселенной,
как будто бы перед базаром,
весь я распался –
исписанным датами
темным базальтом.
Исчез мой покой
и фальшивое великолепье.
Исчезли роскошные ткани,
как будто отрепья.
Но только осталась

у времени под стопами,
как будто азарт,
обо мне,
непонятном вам,
память.
С берданкой моей
за медведями люди охотятся
где-то под соснами,
и выстрелы будят
надежды наивные
мертвыми солнцами.
И, как пирамида
какого-то фараона,
Дербент меня давит,
не слыша ни вскрика, ни стога.
Скосить меня не сумели
болезни или сраженья.
Чуть потеплевшие травы
колышет воображение.
Есть вход потаенный в гробницу,
и на моем саркофаге
легло тяжело, гранитно
облако, полное влаги.
Оно примыкает к смерти,
хотя притворяется мудро,
что обо мне оно знает
лишь отдаленно и смутно.
Про этот мой новый адрес,
где я –
как себя осколок,
знает лишь облако это,
ты
и еще археолог.
Мне твоей тени не надо,
свежего ветра не надо.
Я сам себе сделался тенью.
Я сам для себя – прохлада.
Значения не имеют
для мертвых
награды и званья.
Как оправдать перед небом
собственное существование?
Лишь тем я его оправдаю,

на смерть свою не в обиде,
что ты придаешь значенье
этой пирамиде.

Отар ЧИЛАДЗЕ

Как мокрые замызганные псы,
визжат и воют у порога тени,
и снова просят дверь открыть – в часы,
когда вокруг беззвездное смятение.

И снова каплет мгла или вода,
которая вся тиною покрылась,
а может, рана, та, что не видна,
но вдруг от одиночества раскрылась,
а может, обесмыслившийся миг,
похожим став на капающий крик.

И я – чем на земле я заменю
покинувших ее, чтоб возродиться?
Стать кровью теплой не дано огню,
а обещаю – в клятву превратиться.

Не избежать на свете ничего.
Пуль не вернешь – у пуль такое свойство,
и не беспокоит никого
то, что твоим зовется беспокойством.

Река сама съедает берега,
и от души, которую так гложет,
надежду – ее главного врага –
никто прогнать не смог,
да и не сможет

Вся жизнь моя, как зеркало природы,
и, как изголодавшаяся мышь,
среди людей – существ иной
природы,
рискуя жизнью, пищу ищет мысль.

Прощай, свобода моря в буйстве белом!
Но и вдали, исхлестан красотой,

я слушаю своим оглохшим телом
твой вечный голос – бодрый
и простой.

Хочу тебе оставить столько:
дар видеть и предвидеть даже,
хочу оставить дар горенья,
неугасанья редкий дар.
Хочу оставить все, что вижу,
и то, что шире, и что дальше,
воздушный шарик, нашу землю –
могилами набитый шар.

Хочу еще тебе оставить
великий дар переживанья
чужой беды, чужого счастья,
как будто не чужих – своих.
Деревню с криком петушиным,
С лозой и гроздьями страданья
И город, пляшущий юлою
На запыленных мостовых.

Еще тебе я оставляю
Таких красивых двух подростков:
Ночь смуглую, день белолицый,
И не отдельно, а вдвоем,
Известных миру добротою
И красотой росы и розы,
А также блудом и убийством,
Обманом, пьянством, воровством.

Еще тебе я оставляю
Слезу забытой той девчонки,
Какая и сейчас, наверно,
Ждет, горько плача в тишине.
Еще тебе я оставляю
Сгоревшей птицы пепел черный
И все свирели, на которых
Пришлось играть когда-то мне.

Найди истаявшее рано

Перо с присохшей кровью века
И над моим сожженным полем
Найти звезду не забудь.

А если вправду завещанье
Не убивает человека,
Не убивай меня ты тоже...
Дай мне пожить еще чуть-чуть.

Тамаз ЧИЛАДЗЕ

Еще немного...
Еще немного...
Еще немного,
и – кончится....
Будь же со мной хоть сейчас, ради бога,
очень мне этого хочется!

А ты говоришь
все не то,
не то –
слова не найдешь иные.
Твоя душа – ледяное гнездо,
в ней птицы живут ледяные.

На стенах ее,
как на стенах грота,
в котором так страшно и тесно,
трепещет
беспомощно и огромно
тень моего тела.

И все же люблю
нескончаемо длинной
любовью,
как мне предсказало гадание...
Пусть из меня,
ставшего глиной,
слепят тебя когда-нибудь!

Ничего еще нет,
ничего еще нет.
Только в мыслях
какая-то пауза.
Только лунный след,
только зыбкий свет
накрененного круто паруса.

Ничего еще нет,
ничего еще нет,
только тянет
к холсту и глине,
и к перу и к резцу,
чтобы твой портрет
был увиден
всеми другими.

Я хочу твой портрет
написать на века.
Напишу я его
и вслепую.
Я хочу, чтоб любая была строка
вбита в звезды,
как пуля в пулю.

Я прошу вас, стихи мои,
дети мои,
вы звучите
и грозно и нежно.
Вы достойными будьте
этой земли
и достойными
этого неба.

ТБИЛИСИ

Ты, Тбилиси,
заступник мой и судья.
Ты и будишь меня
и баюкаешь.
Мудрым старцем глядишь ты,

уча и стыдя,
ты поешь и танцуешь,
как юноша.
Как бы я ни знал
переулки твои –
буду вечно
с ними знакомиться.
Твои звезды,
что уличные воробьи
из груди моей зернами кормятся.
Как бы ни был разбит,
как бы я ни устал,
я пройду
и пустыни жаркие,
если ты за водою меня послал
и вдали ожидаешь,
жаждущий.
И вернусь я!
Что может мне помешать!
Не могу я к тебе
не вернуться.
Я вернусь твоим запахом пряным дышать,
в твое длинное тело
втянуться.
И смотреть,
как над сизыми облаками,
разглядеть пытаюсь
тебя хорошенько,
тянут радуги из Окрокана
продрогшие, мокрые шейки...
Я вернусь, чтоб сказать:
- Цвети и светись!
Ты навек
моя сила безмерная.
Я желал тебя раньше, Тбилиси,
как жизнь,
и желаю сейчас,
как бессмертия.

Баграт ШИНКУБА

Я дремал, и море вечное
 головою к голове.
 Нас баюкала Венеция
 синевою в синеве.

И, когда уснув под лодками,
 вдруг лишилось море слов,
 словно почки, звезды лопнули,
 слыша стон колоколов.

Проплывала плавно гондола,
 и звучало без конца
 эхо мраморного голоса
 овдовевшего дворца:

«Слишком поздно мир спохватится.
 Все дворцы ждет смертный час.
 Солнце вечности закатится,
 и поглотит море нас!»

Стой, Венеция, не сетуя!
 Свет искусства – вечный свет.
 Чтобы утопить бессмертное,
 в целом мире моря нет!

АРСЕН ЕРЕМЯН

Поэт, литератор. Заместитель главного редактора журнала «Русский клуб». Заслуженный журналист Грузии. Живет в Тбилиси.

Фридон ХАЛВАШИ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ МЕНЯ УБИТЬ

Знай, Эмин, история не терпит переливания из пустого в порожнее. Читателя не утомляй рассказом. Определись вначале с сюжетом и веди его как положено. Конец апреля, воскресенье, пройдуся, мол, до морского вокзала, подумал, старые рыболовы по-прежнему любят сидеть на бетонных волнорезах, закидывать отсюда удочки в море. Там же, рядышком, укладывают пойманную рыбу в сетки и покоробленные корыта. Одни уносят улов домой, другие – раздают кому-то, немного продают. Правда, больше попадается ставрида, но, трепыхающаяся, только пойманная, и она хороша.

Повторяю, пока только прошелся. Только плеск моря и редкие чайки. Белокрылые, они хорошо видят снующих в воде рыбок, снижаются поближе к берегу, но, завидя людей, стремглав улетают.

Май, но после долгих холодных пасмурных дней солнце, как и я, соскучилось по здешним местам. Пришло на облюбованные набережные и так ластится, кажется, никуда уходить не собирается.

Внезапно я почувствовал, как кто-то сзади коснулся моего плеча. Обернулся и вижу – девочка, с загорелыми плечами и сияющими глазами, подошла и с несмелой улыбкой собирается что-то сказать.

– Дядя, дедушка про вас... позови, говорит того человека...

– Который твой дедушка? – спрашиваю.

– Вон тот, на скамеечке.

Я посмотрел. Девочка проследила за моим взглядом. Тот старик с удочкой в нашу сторону не смотрит. Держится за натянутую леску. Леска дрожит, видно, тащит ставриду величиной с ладонь, и она еще пару раз ударила хвостом.

Старик взглянул на меня и засмеялся. Но за спрятанной в седую бороду улыбкой я не разглядел выражения лица. Этот человек в ту минуту напомнил Хемингуэя, жилистые обнаженные ладони освободил и обе руки протянул в мою сторону.

– Ты тот старый Хемида, Халваши?! – спрашивает, отводя взгляд.

В душе я начинаю злиться.

– Да, это я! – отвечаю. При этом понимаю, что он собирается вспомнить что-то очень старое, забытое. Старик с трудом поднялся. Девочке сказал: «Сядь на мое место». Сухой, морщинистой рукой схватил за мое запястье и куда-то собирается увлечь; куда – я не понял.

Пытался скрыть дрожание рук. Всем телом опирался на меня. Дальше, поодаль, у морвокзала стояла длинная бамбуковая скамья, женщины грели на солнце голые коленки. Поняли – старики собираются здесь присесть, тотчас вскочили, укрылись истертыми подолами

джинсовых платьев. Отошли и так вертели задом, что смотреть было неловко, отвел я взгляд в сторону. Старший из нас первый присел. «Сядь рядом и поговорим», – будто чем-то обрадованный, обратился ко мне. С удвоенным вниманием я приготовился слушать.

– Это моя правнучка тебя узнала. Шепнула: дедушка, вон автор «Омри»; от начала до конца прочитала мне твою книгу воспоминаний. Я ведь буквы не различаю, слаб стал глазами. В одном месте в той книге ты вспоминаешь, как во время войны, в сорок третьем на

Орджоникидзеvской улице встретился с женщиной... Офицер НКВД поручил тебе передать письмо своей жене. О каких-то интересных подробностях той ночи пишешь, но вот что хочу сказать... Мужчина, которого ты застал у той женщины, был тогдашний председатель

Совнаркома Аджарии. Так вот, тот человек был я. Имя и фамилия мои в книге приведены неправильно. Сейчас мне это ни к чему, – его впалые щеки обросли бородой, волосы поредели, глаза утратили былой блеск, но при воспоминании о той ночи оживились, осветились лукавыми искорками.

– Ты вспоминаешь, что на столе лежал револьвер. Да, лежал, в самом деле, помнишь? Под конец, когда ты собирался уходить, и я встал, положил револьвер в карман и вышел вслед за тобой, вышел не только проводить; мы с той женщиной тогда задумали страшное дело, твое возвращение живым в горы, к ее мужу... Ты был внизу темной лестницы, когда женщина догнала меня и незаметно передала свой немецкий браунинг, этим, мол, лучше.

(То есть, как «этим лучше»? Убить меня? – думаю. И не сомневалась, рассуждала, – я, сельский аджарский мальчик, ее мужу все бы рассказал). Когда тот человек вел меня по затемненной Орджоникидзевской улице к крестьянскому дому, тогда, помню, каждую минуту я его опасался, в то же время какая-то сила подсказывала: нет, малыш, нет, такой здоровенный мужчина тебя не обидит, – уверяю.

Ту ночь и те минуты я не описываю достаточно подробно в первой книге. Сейчас, повторно, стоит ли?..

Часто вспоминаю мой путь по темной улице. Вел он меня, крепко держа за руку. Карман его чохи (пиджака) с револьвером бил меня по бедру. И ту минуту помню,

когда карман с револьвером перестал ударять. Опустел карман? В руке держит револьвер – мелькнула мысль, и мое тело пронизал холодный озноб.

Вот сейчас остановит и выстрелит в меня.

Если остановит, вырвусь из его рук... В то же время не верилось в избавление, понимал, в затемненном, почти фронтовом городе, и на одиночный выстрел, стоящий в каждой переулке патруль... Хотя все-таки ожидал – убьет. А иначе, зачем шел со мной такой большой человек; зачем ушел из теплой, ярко освещенной хлебосольной комнаты, с

белоснежной женщиной, чужой женщиной, с таким угощением, расстеленной постелью в углу. Неужели просто ради того шел со мной, чтобы невредимым привести к крестьянскому дому?

Шел я темной улицей, увлекаемый крепкой рукой, – и сейчас об этом вспоминаю с дрожью – вот с минуты на минуту осуществит задуманное, вот сейчас... Давай скажи: «Уважаемый, я тому человеку, офицеру, ничего не передам про ту ночь». Давай скажу, давай скажу. Потом? Поверит мне? Когда вернется к женщине, ведь должен успокоить, что того парня уже нет... получить вознаграждение за содеянное.

Темная улица без единого огонька. Тем временем пришли мы наконец к крестьянскому дому.

– Вот ты и дома, входи и спи, – сказал мне и исчез в темноте.

– Оставил я тебя в крестьянском доме и сам отправился домой, к женщине уже не пошел (говорит мне спустя сорок лет), – сказал и собирается встать. Я помог ему (хоть мне и свыше восьмидесяти, но на девять-десять лет его моложе!).

Сейчас уже я проводил его до места рыбалки.

Девочка добавила к улову две рыбки и теперь глядела с сияющим лицом на приближавшегося, с трудом ковылявшего дедушку: заметит ли ею пойманные.

Мой Эмин, о том человеке и ты, наверное, слышал. Извини, имени его не назову. Нет, сам он ничего мне не поручал. Это я от себя делаю.

Видишь ли, он меня действительно пожалел. Город был полностью затемнен. Холодная мокрая осень сорок третьего. Тогда матросы из Севастополя, фронтовики, на два-три дня остались в Батуми перевести дух. Пьяные шатаются, грабят прохожих в темных переулках. Никого не щадят... Тем более что матросы знают: кое-кто в Аджарии попрятался, чтобы избежать фронта.

Словом, бывшему государственному человеку, этому трясущемуся старику, видно, так понравилась первая часть «Омри», что, увидя меня, признался: не сохрани я тебе жизнь в ту ночь... В конце концов, книга «Омри» – и моя заслуга. При этом похлопал меня по спине своей тонкой, до кости исхудалой рукой.

ИРИНА ЕРМАКОВА

Поэт, переводчик. Лауреат Большой премии «Московский счет» и премии «Anthologia». Член Союза писателей Москвы, член Русского ПЕН-центра. Живет в Москве.

Шалва БАКУРАДЗЕ

ВИНОГРАДНИК

Никогда не стриги мою книгу, в ней ни одно
Слово не будет лозой без тебя. Это вино
Долго искал, подбирая землю, солнце, дожди,
Каждую строчку с любовью к тебе прививая.
Мой виноградник цветет, склон оплетая волной,
Трепетных листьев живые страницы срываю
Бережно и прижимаю к груди.

Вот оно, сердце мое, чувствуешь? - не для чужих.
Не для далеких. Никто, кроме тебя, в нем не жил –
Строк черенки приживутся, надеюсь я слепо.
До ноября в ожиданье вина молодого
Бродит по дому запах, будто старик, и кружит
Голову виноградное слово,
И распрямляет побеги упругие в небо.

Эти слова как трава только с первого взгляда,
 А заглядишься под ноги – прозрачна рассада,
 Чувственны корни лозы, огнеупорна их плоть.
 Царственна жизнь на корнях. Властная гроздь налита.
 Стоит отведать хоть раз драгоценного яда,
 Слова распробовать вкус: все остальное – вода
 Пресная. Будь ты не царь, а Господь –
 Ты бы не смог позабыть это вино никогда.

Ника ДЖОРДЖАНЕЛИ

ПРОЩАНИЕ С АДАМОМ

Память одолевший, тьму и жалость,
 Пусть тебе хоть яблоко даст Бог,
 Если все, что от меня осталось, –
 Только яблочный переполох.

Хорошо б – женили на похожей,
 Разрешила чтоб тебе она
 Оглянуться и смотреть до дрожи,
 Как я ухожу от вас – одна

Круто вниз – легка, неповторима,
 Проклята, распатлана, стара, –
 Словно песня твоего, любимый,
 Лишнего ребра.

СНЕЖНЫЙ ПОЕЗД

Г. Г. Шенгелия

Давай пообедем
 Ландшафты нашего детства,
 Станции и заводы с дымящими серыми трубами,
 Увиденные когда-то
 Из окон поездов прежних поездок.
 пообедем на снежном поезде
 С мутными льдинами вместо оконных стекол
 И быстрым кружением снежинок вместо двигателя.

Плотно закутанные,
 В вязаных шапках
 И варежках
 Будем согревать воспоминаниями свои сердца,
 Если уж не о чем нам станет говорить.
 Будем сидеть хоть и в разных купе,
 Но только в одном, пусть снежном, поезде
 И чувствовать друг друга за холодными, белыми стенами.
 А сможем или нет различить что-либо
 За ледяными окнами –
 Никакого значения для дружбы иметь не будет.

Котэ КУБАНИЕИШВИЛИ

СУЛИКО

я всю ночь искал Сулико
 а нашел лишь кость в языке
 кость торчала из горла
 в бутылке не было дна
 в ней таилась холодная песня
 Манави-вина
 никому не буду звонить
 уйду налегке
 потому что я понял – и ты не Сулико
 началась пальба
 на площадь вышел народ
 я солдата спросил: это ты убил Сулико?
 и солдат оскалил
 в жемчужной улыбке рот:
 я тебе помогу
 не волнуйся – это легко
 это школьный урок
 ты просто его забыл
 и сияя как солнце
 по небу танк пошел
 над бурлящей толпой
 вращая горячий ствол
 разводя поисковый прицел
 широко широко
 лучше б ты не терялась!
 я кричал задыхаясь
 может это я Сулико!

* * *

бедный Котэ бедный всех бедней кругом
 бился бился с бытом и устал – довольно!
 сам себя бы тюкнул в сердце топором
 только неохота – потому что больно
 и когда народ мой эй кричит поэт
 сердце мое лопнуть силится от злобы
 я нашел бы дело – почему бы нет
 только неохота Котэ лень – а то бы...

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

вот и настал мой день
 сыплется снег
 белый как белый свет
 как лицо юбиляра
 предновогодний снег
 белый как день
 как серебро сработанное из пара
 льется туман с гор
 тает сырой снег
 словно кораблик мечты в окне
 сирой поздней
 мне давно – пора
 холодно в этом сне
 снег двадцатое декабря
 Happy birthday

ПРОЩАНИЕ С ДОЛЛАРОМ

возлюбленный! я стар и одинок
 и лишь тебя коснувшись обретаю
 мечты усталой смысл – как юный бог
 бессмертен я когда тебя ласкаю

о нежный хруст о счастья залог
 к вечнозеленой плоти приникаю
 печаль! я удержать тебя не смог
 неверен ты но я тебя прощаю

ты нужен всем прощай мой дорогой
ты совершенство – к пошлости людской
ты глух – и к суете и к славословью

разлука тяжела но я привык
ты увлечен всемирною любовью
и что тебе грузинский мой язык

Зураб РТВЕЛИАШВИЛИ

ИЗУМРУДНЫЕ КРЕСТЫ

(стихи на бархате революции)

Озвучь мое эхо, Хронос,
покуда считаешь нас,
секунды веди на голос, –
я площадь пущу в пляс.
Из вопля камней брусчатки
огнем по хребта мосту,
на голос ребер – из пятки
по позвонкам взойду.

Смиренному – поцелуя
не подарю за так,
не верящего – скручу я,
пусть учит на мой такт
молитву, как пушки грохот,
висящую над толпой,
и, как сумасшедший город,
пусть ищет чужой покой.

Пожар – это солнце!
Строясь,
секунды сжигают час,
озвучь мое эхо, Хронос,
пока ты считаешь нас:
вот площадь – как Бог в лезгинке,
вот – пьяное море ртов, -
скорее! Пока не сменили дубинки
на изумруды крестов.

ЕЛЕНА ЗЕЙФЕРТ

Поэт, прозаик, переводчик, литературовед, литературный критик. Член Союза писателей Москвы и Союза переводчиков России. Живет в Москве.

Шота ИАТАШВИЛИ

ЦВЕТОК В ПОДАРОК ТОГДА, КОГДА ТЫ ПОРЕЗАЛА ОСКОЛКАМИ СТАКАНА НОГУ

Луч солнца,
что должен был пройти сквозь хрусталь и
разложиться маленькой,
домашней, желанной радугой,
сейчас без препятствий пересечет
всю комнату и
набросится на тапочки, позабытые в углу.

Вода,
что должна была пройти, очищенная, через кран и,
наполнив стакан,
стать частью твоего тела,
сейчас хлынет
на грязные тарелки, оставленные в раковине.

Кровь,
что не должна была вытечь из твоей ступни
и окропить хрустальные осколки и пол,
сейчас, немного испуганная,
ждет, когда я подую на ранку
и приложу к ней ватку с йодом.

Вот почему именно сейчас
тебе нужен
в подарок цветок, который
условно называют Любовью.

* * *

Рыл землю, и –
«Почему вредишь небу?» - упрекнули меня.
Взлетел в небо, и –
«Сколько можно копаться в земле?» – пристыдили меня.
Пошел на север, и –

задохнулся от жары.
 Пошел на юг, и –
 продрог.
 Пошел на запад, и –
 Натолкнулся на людей в чалмах.
 Пошел на восток, и –
 Утонул в демократии.
 Даже не шевельнулся, и –
 «Почему не можешь оставаться на одном месте?!» - спросили раздраженно.
 Полюбил, и –
 Возненавидели.
 Возненавидел, и –
 Полюбили.

Все стало на свои места.

АННА ЗОЛОТАРЕВА

Поэт, переводчик. Участница международных поэтических фестивалей. Живет в Москве.

Шалва БАКУРАДЗЕ

ВЕЧЕРНЯ

То, что я хочу рассказать, светлей
 чем младенца смех и теплее рук
 материнских, быть может.
 Безмятежный сон, что лежит вокруг
 бездорожья, там, где нехожен луг,
 безмятежен сон, где трава служит ложем.

Океан небес, синевее всех
 высей, чище всех, прежде виденных,
 высей дальних – бескрайней.
 Лишь глаза закрой, сердце вспомнит их
 и увидит, лишь удержи на миг,
 лишь дыхание на миг удержи, дыхание.

Знай, я пекарь и, на своем веку,
 я влеку судьбу – что мука бела,
 счастье – теплое тесто.
 Золотым, доставшимся бедняку,

солнцем полон рот – весь словарь дотла,
лишь люблю, люблю, люблю, слов вместо.

Я рыбак – моя улыбка, на дне
глаз твоих блестит, разнежась, плывет
рыбкой в светлой лагуне.
Твоего давно зная сердца ход,
понял лишь сейчас я свое и вот –
без тебя уже не могу, не могу, не могу, не...

Помню, как сейчас, как я покидал
незабвенную родину мою,
небеса с облаками,
в дом к тебе придя, подожди, когда
одиночество сгинет без следа,
под тобой простыню увлажню словами.

Я твоя жена, я тебе верна.
Я твой муж, Господу вверенный, я
муж твой, муж я твой верный.
Знаю, в главном, ты не поймешь меня,
ибо слышишь все из пределов сна,
соглашаясь: ветер, да, ветер в двери.

Вновь ложусь с тобой, моему в ответ
доверяется дыханье твое,
и темнеют волос волны –
так, любя в тебе каждый жизни след,
я люблю твое же небытие,
ну на что мне это, скажи, на что мне?

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Снова в отцовскую комнатуходишь, — как прежде:
Ласточки — там за окном — возвратившись, щебечут,
Все расцветали бутоны сирени, за нежным
Мартом торопится сердце свободней и легче.

Ты, кто так любит всегда находиться в сомненье,
Даже любовь под вопросом, — заметив у двери,
Пух от чинары, клубящийся густо, и тени
Больше не вносишь во всю эту жизнь недоверья.

С ясностью каждую трещинку в комнате помня,
Ищешь, она ли ночами все снилась и снилась,
Отчая комната эта, которая кроме
Пыли и стен для тебя ничего не хранила.

Только лишь сад неизменным остался: парная
Дышит земля, воробьев крик на груше в ветвях ли,
Прежние ль песенки дождь в мандаринах играет, —
Но постарело все, сделалось хрупким и дряхлым.

Смотришь на ласточек, словно желаешь, чтоб крылья
Мысли твои обрели, чтоб когда-нибудь рано
Утром собраться — они над землей бы парили —
И полететь вслед за птицами в теплые страны.

Шота ИАТАШВИЛИ

ПОЦЕЛУЙ

Когда у тебя недостаток речи
три чайных ложечки слов
добавляю тебе в кровь и
перемешиваю хорошо
затем дую
чтобы скорей остудить
и прикоснуться к краешку чашки
губами

сам же крепко
сжимаю чашку
обеими руками

когда ее опустошенную
ставлю на землю
из-под ее донца раздаются
чудесные звуки
в них ощущается
лингвистическая сладость
того сахара
что я добавил

АВТОБУС РАВНОДЕНСТВИЯ

Как красив был этот синий автобус!
 Из зимы вдруг переехавший в лето...
 Я увидел его с поднебесья своего четвертого этажа
 И сразу узнал:
 Это 12-тый,
 Он ходит с Руставели до Важа Пшавела
 В салоне украшенном турецкими надписями
 И грузинской речью –
 Сидели люди и сияли от скрытой радости
 Я смотрел с высоты на автобус
 И его голубые полосы подшучивали надо мной –
 Будто несколько ступенек небесной лестницы
 Под моими ногами
 А сидящие в автобусе –
 Это ангелы синих высот...
 Я смеялся над своей шуткой
 Но когда посмотрел вверх то увидел тьму
 И понял что стою вверх ногами
 Над головой у меня земля,
 А там где проехал мой голубой автобус – небо!
 Но это была лишь ответная шутка
 Человека в хорошем настроении
 В этот чудесный весенний вечер...
 Потом снова появились автомобили и люди
 На земле и вверху, во всей вселенной
 Только 12-ый скрылся
 В направлении Сабуртало
 Когда-то там жила моя жена
 Но я перевез ее сюда
 И все это имело большое значение
 Как и синий автобус
 На мгновенье перевезший из другого мира
 Неземных путников
 Что бы показать их мне
 И исчезнуть

* * *

Снова мое лицо не брито.
 Помню – последний раз
 стоял у зеркала

с бритвой в руке.
Помню – думал о десяти
тяжелеющих кончиках пальцев.

Не помню – покончил в тот раз с собой,
или все же побрился?

НОЧЬ

Оксане

Всюду ночные сторожа –
Вечно-жужжащая муха
Тело мое недвижимое за столом
Вода дробящаяся непрерывно
Ожиданье рассвета и
Дня который должен уйти
Дня который должен уйти чтоб вернуться
Летом переливаются странно сны
Спишь – значит спишь
А не спишь, так живешь –
Сторож ночной, сумасшедший,
Сомнамбула –
Бродишь по темному городу,
Ищешь конфеты, шампанское, сигареты, луну,
Чтобы вернуться
К женщине спящей меж Фростом и Блейком,
К женщине руку во сне сжавшей в кулак
Утром она уйдет,
Ибо и день уходит
Так говорю
Утверждаю
Повторяю снова и снова
Ибо и кровь уйдет,
И земля, и небо, и снег,
Сны и поцелуи, злость и знание,
Но пока что Оксана спит,
Спят и цветы, и стаканы,
Пепельницы, звезды и Бродский,
Стихи и деньги, слезы и органы детородства,
Уснул Джон Донн и Оксана
Под большим одеялом лета –

Скинешь его –
 Проснутся поднимутся и уйдут –
 Недалеко – разбредутся по этой земле –
 Иосиф Бродский в Америке,
 Я в Тбилиси, а ты –
 Затерявшись где-то между Тбилиси и Киевом
 Мы каждое утро ждем появления древних знаков,
 Они покажут нам, как пробудиться
 Встать и идти
 И мы правы
 Не ведая
 Почему.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ РОЗЕТКИ

Есть комнаты в которых
 Чувствуешь взгляд розеток

Их маленькие жуткие глазки
 На круглых потемневших лицах
 С винтиком – носом.

Как напряжен их взгляд! -
 220 вольт –
 Он выражает то, что стены
 Думают про тебя, про всю твою семью,
 Про мебель в комнате,
 Вообще про жизнь

Этот взгляд пронзает насквозь, он беспощаден
 От него берегут детей
 Ведь они так часто хотят
 Розетке выколоть глазки гвоздем

Дети чувствуют где-то подвох
 Но не знают, что
 Если розетку попробовать ослепить,
 То она покарает тем же

Вот она такая – розетка,
 С бессмысленным выражением
 На плоском лице –

Коварная

Она презирает имя, которое дали ей люди
Ей не нравится, когда по стене бьют молотком
И когда по ночам все засыпают

Да и день ей не нравится –
Сумасбродка,
Но у нее, как у сварливой старухи –
Так много света
В глубине ее темных глаз

Майя САРИШВИЛИ

* * *

Эта буря всех разметала
и выстроила по-новому,
по краям расставила детей рифмами,
и вот уже движется демонстрация,
как стихи безумцев.
У меня улыбка точно поврежденное крыло –
волочится где-то снизу неловко,
ни убрать ее, ни спрятать,
каждый норовит наступить на нее, -
в толпе с такой неудобно.
А потом хлынул ливень.
Пригляделась, а капли точно
маленькие мегафоны,
и я бегу за каждой
и в каждую читаю стихи,
ни одной не пропустила!
Это напомнило мне давний случай,
как когда-то, перед полным залом людей,
я нелепо карабкалась на шаткую сцену;
точно так же, как в детстве,
когда умирала мама
и я в страхе забиралась на стол,
чтобы оттуда Бог
мог лучше расслышать
мою молитву.

ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ

Мне говорили, что четверо это слишком!
 Что, хотя бы от двоих, нужно было избавиться,
 но я никак не могла решить от которых,
 они, меж тем, росли и крепили,
 их уже не так-то просто было убить.
 Остался бы у меня один,
 отдавала бы ему все четыре поцелуя,
 и никто не сказал бы ему,
 какой ценой их стало больше на три.
 Но я, неразумная,
 не смогла выскрести
 стерильными тяпками
 детей –
 точно больные гланды.
 Это я виновата,
 это я затянула, воображая,
 что живот мой, все равно, каждый раз вырастал бы,
 что так и ходила бы до конца жизни
 с холмиками по числу убитых детей.
 С вечными страшными могильными холмиками
 на животе.
 Мне говорили, что четверо это слишком!
 Что, хотя бы от двоих, нужно было избавиться,
 но я все не могла решить, от которых,
 они, меж тем, выросли,
 дотронулись пальчиками до моего лица,
 сказали «мама».

ЕЛЕНА ИВАНОВА-ВЕРХОВСКАЯ

Поэт, переводчик. Член Международной федерации русскоязычных писателей и Союза писателей России. Живет в Москве.

Маквала ГОНАШВИЛИ

ЗОВ

Мать моя, Ева, где ты? Мама, мама! Ма!!!
 Мне б госпожою света стать, до того, как тьма
 Разум накроет, а душу примет Господь.

Пока еще силы – втрое и безумствует плоть.
 Пока еще тело, как солнце и роза в груди,
 И у ног моих бьется, лотос, и жизнь впереди.
 Ведь я женщина, Боже, что могу я сама?
 Жар познания до дрожи меня сводит с ума.
 И горчит наслаждений отравленный мед.
 Упаду на колени, змей мой стан обовьет.
 Сколько раз прививали мне тело к душе,
 Будто крылья ломали на крутом вираже.
 Как орел над Танталом, бес кружил надо мной,
 Я не муки желала – только страсти земной.
 Как по горло входила я в прохладе озер,
 Лишь любовь я любила – не напьюсь до сих пор!
 Не стыдишься ли, Боже, своего ремесла?
 Срок земной осторожен, но сжигает дотла,
 Неразумных и нищих, безутешных детей,
 Что как воли и пищи, жаждут веры твоей,
 У последней черты, что пройти не успели,
 Травяные мосты да смертельные мели.
 Ева, как мы похожи, через тысячи лет,
 Этим жаром подкожным и предчувствием бед.
 Ты начало начал всех земных воплощений, -
 С каждой, мир проживал, первый грех и паденье.
 Мать моя, мой ребенок, с тобой я сильнее!..
 Но болит мое тело от висков до ступней.

ОДИНОКАЯ

У волос этой женщины запах
 Города, пепла, дыма.
 Одиночество на кошачьих лапах
 Смотрит неизлечимо.
 Женщина курит и выдыхает
 Продымленную душу.
 Закат догорает, камин догорает,
 В комнате – душно.
 Заговор чисел, где чет и нечет
 Сделали третьей лишней...
 Бьет полночь, утешиться снова нечем.
 Бьет полночь. Она не слышит.

ТРИ СЕСТРЫ

Меня бросить нельзя, можно лишь потерять
 Я успею, успею, успею,
 Как волчица, засаду почуяв, порвать
 Первой. Только с петлею на шее.
 За минуту до края, до входа в метро,
 До другой, что уже на пороге,
 Стиснув зубы ответить: «Не трогай, не тро...»
 Я тебя позабуду, как многих.
 Да она же не любит, совсем, никого!
 Из породы бездушнейших самок. —
 Улыбаясь, киваю в ответ головой. —
 Ну, конечно. Попробуйте сами.
 Сердце в клочья и сгусток помады у губ,
 И, качаясь, как будто в похмелье,
 Неужели и это стерпеть я смогу,
 Боже мой, ну ответь, - НЕУЖЕЛИ!
 Но ни крика, ни стона, шепчу лишь: «Держись!»
 Так, что пальцы немеют порою,
 И рождественской елью тянусь только ввысь,
 За какой-то, там первой звездой.
 Канул праздник и вечного счастья игра,
 Всех отпетых гостей карнавала.
 Будто ель дождалась своего топора
 И упала, и пальцы разжала.
 Но зеленые иглы пробьются опять,
 Улыбнусь, как бывало и прежде.
 Одиночество, гордость – ведь нас называть
 Стали сестрами, с новой – Надеждой!

ДОЛГ

В стране моей, где бережная память
 Сильна и укрощает пыл любой,
 Где все проверено и сложено веками,
 Быть женщиной – не значит быть собой.
 Но, боже мой, еще трудней при этом,
 (Как Грузия верна себе во всем!)
 Родившись женщиною, стать поэтом.
 И быть поэтом каждым божьим днем.
 Сквозь сплетни, и ухмылки, и наветы

Увидеть как рассвет из берегов
 Выходит, заливая море светом,
 И по шипам пройти, не чувствуя шипов!
 Одной рукой касаясь колыбели,
 Другой – метафор штопать полотно,
 Быть верною женой на самом деле
 И понимать, что, в общем, все равно
 Не удержать себя в границах этих,
 Все рвется прочь в погоне за судьбой,
 Как бабочка с огнем, играть со смертью
 И выиграть неравный этот бой.
 Но, не в пример другим, пустым кокетством
 Не отогреть мне больше никого,
 Когда из темноты повеет детством,
 Всей беззащитной мудростью его.
 И значит просто нужно стать богиней,
 В ярме между мужчиной и землей,
 А, если мужество и здесь меня покинет,
 Остаться только лишь самой собой.
 Не из любви к отеческим заветам,
 А просто мне слышнее голос муз;
 Родиться женщиной и быть поэтом,
 Для Грузии – непостижимый груз!

СЛЕЗА СОЛНЦА

Лали Тотадзе

Ты – слеза солнце, ты – стихотворенье,
 Не луч – слово, рожденное взглядом.
 Соткала рубашку сновидения,
 Не позволив милому лечь рядом.
 Заслонив белоснежную постель,
 Отвернулась от тепла и света,
 Но нетронутых гроздьев жадный хмель,
 Все тоскует по ладоням лета.
 Как далеко ушел твой садовник,
 Не испив тоски этих ждущих глаз,
 Проклянешь ли цепких рук терновник
 Или же простишь последний раз?
 Срезанных прядей лег скорбный венок,
 Напрасно ветер тебя тревожил...
 Ведь он уже рядом ,высокий бог...
 Как мерцают фиалки у ложа.

БЫЛО ТО ИЛИ НЕ БЫЛО

Дед, я знаю, ты стал добрым великаном
 В самой грустной своей сказке без конца,
 Облаков плывут нездешние экраны,
 Может тень твоя у старого крыльца
 Примостилась, укрывает тишиною
 Мои плечи, укрощая пыль и зной,
 Дед, побудь еще немножечко со мною,
 Ну хоть деревом, побудь еще со мной.
 Опустела наша хижина в Хомхели,
 Лишь цикады да упавшая лоза...
 Твои сказки в эти утренние трели
 Слух вплетает, будто много лет назад.
 Как, спеша взрослеть, от них я убегала,
 Как в судьбу свою входила, точно в храм,
 Перекресток – всех дорог моих начало,
 Да добро со злом, в обнимку, по пятам.
 Хорошо, что ты не видишь, как мне больно,
 Одиночество, как ранит, на бегу,
 Твои сказки будто «воля» и «неволя»
 Мое детство и Хомхели берегут.
 Я не знала, что так жизнь на них похожа,
 Днями горечи наполнился хурджин,
 Обними меня, оттуда, как ты можешь,
 И сначала эту сказку расскажи.

Шота ИАТАШВИЛИ

ЛЕГКОЕ, ОЧЕНЬ ЛЕГКОЕ И НЕ ТАКОЕ УЖ ЛЕГКОЕ

Люди шатались, как пьяные,
 И опирались на палочки от "Эскимо",
 Чтобы не упасть.
 Маленькие девочки, привязав бечевками комнатных собачек,
 Выбегали на улицу и размахивали ими, как воздушными шариками.
 Утро слизало наши тени,
 И мы искали их, взявшись за руки.
 Когда ты наклонялась,
 Два маленьких, упругих солнца

Выскальзывали из выреза,
А я собирал их и возвращал обратно.
Однажды они подкатились прямо к ногам деревенского мальчишки,
Впрыгнули в его зрачки, и он зашатался,
И только веселый мороженщик
Удержал его, протянув, как костыль,
Твердую трубочку сладкого холода.
С невозможным наклоном фигуры Шагала,
Одни вдруг замерли, вдыхая запах обнаженного лета,
Впадая в забытие, и на лыжах своих снов
Заскользили по улицам.
А другие – никуда не двигались, застыв на одной ноге,
Точно цапли на подмостках,
Бормоча сны.
Встревоженные репродукторы
Просили держать дыхание
И остановится. Остановится. Оста...
Внутри купола, оказавшегося цирком,
Канатоходцы, срывая представление,
Падали вниз, как спелые груши.
А мы, вместе с оставшимися без присмотра детьми,
Вырвались прочь, наверх, и облетели купол
Три с половиной раза.
Его алюминиевые бока, похожие на мглистую воду,
Отражали наши движения.
Когда мы уставали, мы просто ложились на спину и отдыхали.
А люди внизу крутили полыми головами,
Касались друг друга и, качаясь,
Ложились плашмя, то в одну, то в другую сторону.
Некоторые уже не вставали, –
Наверное, это была усталость,
Больше похожая на смерть.
Иногда и те и другие прекращали
Судорожные движения и одновременно простирали
Параллельные руки, туда, к верхним небесам.
Именно в этот момент
Нас, парящих над куполом,
И настигла волна земного запаха, убийственного аромата,
И мы, очертив семь раз по три с половиной круга,
Медленно пошли на посадку,
Приземлились в этот ленивый,
Пологий танец толпы,
Чтобы найти, наконец, свои тени.

ЕЛЕНА ИСАЕВА

*Поэт, драматург, переводчик. Лауреат премий «Триумф», «Действующие лица».
Член Союза писателей Москвы. Живет в Москве.*

Нико ГОМЕЛАУРИ

* * *

С кем в аду окажусь? – Будет враг ли мне, друг ли?
Вместе с кем подметать буду адские угли?
Музыканты, актеры, их музы и феи
Лживый занавес жизни сорвут, не жалея!

Вот когда здесь начнутся игра и веселье!
Без цензуры писать – выпив адское зелье
И сгорая, смеяться над тленом и скверной...
Как в раю в эту ночь заскучают, наверно...

* * *

Десять секунд, как с тобой повстречался,
Девять секунд, как лицом посветлел я,
Восемь секунд, как почувствовал тело,
Семь, как проник в тебя, влился, остался.
Шесть – долгих вечных секунд на мученье,
Пять – и рождается стихотворенье.
Вот за четыре секунды простился.
За три – заплакал и перекрестился.
За две – удар раздается сердечный.
Хватит одной, чтобы сердце разбил.
Десять секунд пронеслось после встречи,
Вечность уже – как тебя полюбил.

* * *

“Я” мое второе
гонится за мною –
я ругаюсь, плачу,
но нельзя иначе.

Вот над головою,

как стервятник вьется —
не дает покоя,
в руки не дается.

Ведь беду накличет!
Как унять его мне?
О своем двуличье
постоянно помню.

Строчки сочиняет,
не спросив совета.
Мне назло меняет
все мои ответы.

Злюсь, бешусь, немею —
Как мы не похожи!
Кто из нас главнее?
Искреннее кто же?

* * *

Не осталось сердца, почек,
Легких — все равно борюсь,
Выдыхая правду строчек,
Горьковатую на вкус.
Но в глаза взглянувши Нине,
Словно вижу свет в окне —
Ведь играл же Паганини
На единственной струне.

* * *

Если дали мяч, то нету поля.
Если в лес иду — капкан стоит.
Захотел удить — нет рыбы в море.
И чужой из зеркала глядит.

Пули есть, но нет ружья, ребята.
Есть перо — ни строчки не пишу.
Кошелек есть — денег не богато.
Есть машина — только не вожу.

От кошмара пробужусь во мраке —

Сломанные ходики тихи.
Здесь меня не узнают собаки,
Женщины не чувствуют стихи.

Навсегда потерял ключ от дома,
У меня внутри погашен свет:
Страшная пожизненная кома –
Библия со мной, но веры нет.

МОНОЛОГ ВЛЮБЛЕННОГО АКТЕРА

Что ж я воюю с Шекспиром отчаянно,
Если ты где-то с другими – случайными?
Справлюсь с «подводным течением» Чехова,
Только ты снова куда-то уехала!
Сколько сменю и обличий, и грима я,
Но без тебя я старею, любимая.
И будь я Фигаро, будь Дон Жуаном я,
Верь, что тебя не унижу обманом я.
Сартр или Ибсен – как они жалобны –
Вновь потому что к кому-то сбежала ты.
Снилось – душил тебя в роли Отелло,
Обнял твое бездыханное тело,
В страхе проснулся, в поту, в наваждении...
Что только не напридумают гении?!

Выглядел как он? Знать мне откуда?
Вроде, была борода? Или нет?
Не изменить мне поступка Иуды.
Но переживаю – две тысячи лет.

Как же Иисуса поцеловал он?
Как же глазами с Ним встретиться мог?
Да, ненавидел я ближних, бывало.
Но от предательства Бог уберег.

Тот поцелуй, отделяя от Света,
Сводит во Тьму до скончанья времен...
Не из-за денег пошел он на это.
С завистью, видно, не справился он.

Только не умер, не сгинул Иуда –
Он среди нас и сегодня повсюду.

Гага НАХУЦРИШВИЛИ

Выпить с друзьями не смог – не сиделось –
Вдруг одиночества так захотелось! –
Шапку надел, дверь открыл – все, пора –
Где-то в четвертом часу утра.
Сгинуть, от жизни спасаясь отъездом,
Сопротивляться себе бесполезно.
С детской обидой на весь белый свет –
Как же смешен этот автопортрет.
Нет, уходить так тебе не пристало!
Миг на раздумье – и все же – к вокзалу.
Поезд, колеса и – что впереди?
Любишь вот эти пустые пути?
Лбом прислонился к холодным оконным
Стеклам – и дождь застучал по вагонам.
Воспоминанье замучило вновь –
Вспомнил пустую постель – нелюбовь.
Вспомнил квартиру уютную снова
И помрачнел – к возвращенью готовый.
Нет возвращению имени, нет.
Дремлет в глазах запоздалый рассвет.
Вновь утолишь возвращения жажду,
Чтобы опять все оставить однажды.

ВЫХОДИТЕ!

Женщина, наверное, - предел.
Беспредельно только одиночество.
Или, может, правды захотел?
Выдумал – владей, и все получится.
Столько мы дверей уже прошли.
Столько книг себе открыли сами.
Разговор сравню с волной вдали,
Тишину – со снежными полями.
Что колокола сказать хотят –
Что с утра они вещают миру?
Выходите, - людям говорят, -

Как из раковины, из квартиры.
 Выходите! – пропадет предел.
 Выходите, только сбросьте маски.
 Ну, а если правды кто хотел...
 Пустота приобретает краски.

Город так бессильем страшен,
 Улицы бесцветны так,
 Что никто уже не важен,
 Все равно: что – друг, что – враг.

Новостей тут не бывает,
 Нет судьбы ни у кого.
 Прописную правду знают,
 Ну, а больше – ничего.

Здесь никто желать не смеет –
 Никаких желаний нет.
 Жажды жизни не имеют,
 Но имеют в рай билет.

Словно тени, ходят, бродят,
 Круг за кругом – что ж, кружись.
 Ничего не происходит –
 Просто убивают жизнь.

Там, где вечно не светает,
 Деньги делают старей.
 Даже воздух отбирают!
 Дайте воздуха скорей!

НАНА КЕЛЕХИДЗЕ

*Поэт, переводчик. Родилась и выросла в Грузии. Много лет жила на Украине.
 Пишет стихи на грузинском языке.*

Като ДЖАВАХИШВИЛИ

ЭМИГРАНТ

«Матерь Божия, помилуй нас, сирот...»

Отар Чиладзе

Кадр первый:

Здесь, на моей Родине,
Ищу твои загубленные восходы
И на ладони сверкает огромное стальное солнце.
А ты думаешь, если хоть одна ласточка перелетит
Из моего гнезда к твоей стране —
Весна наступит.

Кадр второй:

Здесь, в собственной стране,
С телеэкрана фасадно улыбаясь,
Рву на улице свой псевдопортрет и иду.
А ты думаешь, пропасть уменьшается между нашими душами,
И однажды, когда встретимся,
Не будет дорог.

Кадр третий:

Ты, где-то в чужой стране,
На опустевшей от чувств постели
Лежишь, как обрубок с засохшими ветвями.
И мне кажется: Ты убежал. Окаменел.
А тебе: Я сдалась. Осталась. Землею накрылась.
И Бога между нами не сыскать ныне...

И между нами сохнет кусок. Хлеб, или земля.
Одна дорога. Еще одна — чуть покороче.
Река уносит, ручейками, как два течения,
Отошли воды... на берегу лежу и плачу,
Видишь?! Иногда улыбаюсь, влажными руками
Взмахиваю. Верю, сбежать было гораздо проще,
И опустились сумерки, как те древесины
С наших деревьев, - мы на слепых теперь похожи.
Твои попытки пробуждения — на краю неба
Придуманные дороги, навстречу мне шаги.
Овечьим стадом все рассветы там перегнала,
Где землистые дома станут намного ярче.
Мы — два конца одного клубочка — два края света,
Две паутины лабиринта. Колесо может.
И утекшие потихоньку талые мысли
Мы друг у друга заберем и в кулаки сложим.

Кадр двадцать пятый:

Я здесь, на своей Родине,
Ищу твои загубленные восходы,
И на ладони сверкает огромное стальное солнце.
А ты надеешься, мы укрылись в поле, как в детстве –
Тугого клубка потеряв концы...

СЫН

И было как-то. Безнадёжно. Любовь. Привычка.
Себя теряли. Коротая день. Вдвоем. Молча.
И раздевалась зима, к ногам бросая тряпки.
Запрещены ответы, вопросы. Слезы – всего лишь
Едкая жидкость. И сколько раз взорвется сердце, -
Столько же фальши.
Говорю. Веришь.
Стрелки два раза пересекут экватор, после
Перебросят нас вне времени. Два раза тоже.

Я пишу так. Ты рядом. Во мне. Позади меня.
Между моих слов. В моих словах. Хотя многое
Вроде сказано. Вроде одно. Вроде ничего.
И сидим вдвоем, в доме, где на длинную веранду
Мы не выйдем – нет веранды. Наш уютный дом
Только для нас. И накрывает маленький ужин...
Взгляни на часы. И сколько раз взорвется сердце,
Столько и добра.
Говорю. Веришь.
Стрелки два раза пересекут экватор, залпом,
День под ногами разобьется. Два раза тоже.

Я так напишу:
В твоих мыслях. Для тебя. В тебе.
Запрещены ответы, вопросы. Если внезапно
Рвется одежда. За спиной опору ищешь.
Стена. Хочется уходить
И снова вернуться.
Ты отдохни в моих словах, хоть мимо слов этих,
Но никогда не прикрывай лицо руками...
Говорю.
Веришь.
Стрелки два раза пересекут экватор, после
Перебросят нас через него. Два раза тоже.

...Мои чернила на бумаге только не разлей –
Она белая...

ИОАНН

Я лежу в чем мать родила.
Так же, как кукол в детстве клала.
Да, точно так же.
Мерзну.
Чтоб застелить мою постель,
Косарь накопил траву,
Траву накопил косарь.
Везет, лелея с гор,
Догонит в пути дождь.
Заметет косарь стог и
Телом своим прикроет.
Расколет ему спину Элия
Плетью хлестнувшим громом, -
Надвое.
Раскинется стог его с печалью и горем
По свету.
Я лежу в чем мать родила.
Так же как кукол в детстве клала.
Да, точно так же.
Мерзну.
И мне в порванный рот вливают
Отвар из трав.

«всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь»

Я земля.
Земля есмь я.
Сгниют корни мои,
Накроют лава и потопа.
Сгниют корни мои,
Потому что больше нет во вселенной ни души знакомой.
С тобою каждой ночью спать буду
Гнилыми корнями и почудится,
Что экватор моей плоти лежит на городе,
Где посдыхали не от голода –
А пуповинами смотанные улицы
Долгие лета,

Как духи на тело Агасму из красок
Наносили.

На Мтквари* спустились в лохмотьях,
И не вернулись.
И выкопанные корпуса
В цоколях гнилых,
Вялые зародыши храня,
С распущенными волосами
Утопились.
Обезглавленный лежит Иоанн.

Чтоб мою постель застелить,
Косарь накопил траву,
Траву накопил косарь.
Привез, лелея, с гор.
Заметал косарь стог.
подвернул одеяло над бок
Мерзну.
Расколет ему тело Элия
На шее плетью хлестнувшим громом-
надвое.
Я есмь земля.
Земля есмь я.
Снимутся все проклятия и
Возьмет посланец на себе грехи чужие...
Снимутся все проклятия и
Пригвоздятся одно тело – другим на помощь.
Возвысится посланец к косарю на Елеонской горе
И промолвит:
- О, мой Отче...

На Мтквари в лохмотьях спустились, и
Ждут, в чем мать родила.

*Мтквари - река (Кура)

ПОЛНИМСЯ

Ты не бойся,
в каждую дверь смерть постучится.

Весна. Март месяц. Число теперь точно не знаю.
 Сказали, вроде наклонилась на см. восемь
 планета Земля, это значит, что вычисляют
 из солнечной системы наш сентиментами
 уставший глобус.
 Двойка за поведение.
 Он на оценку выше уже и не запомнит.

Всем дорогам и всем руинам строгое смирно!
 Всем полям, селам и городам строгое смирно!
 Всем невестам под куполами строгое смирно!
 Всем погибшим за героизм, всем героям смирно
 и
 Равнение нале-
 во,
 Окно открой, ведь отсюда гораздо легче
 Протянуть взгляд, как ноги свои кладем уныло
 на ту планету, где стоим как обреченные
 опухольями врослись внутрь и укоренились.
 Где все солдаты равняются справа налево,
 И синоптики все гадают прогноз погоды,
 Не освежаем макияжем
 Губы, не блеском.
 Земля тронулся,
 С душ тронулись. Промо-
 акции устраиваем
 для защиты себя, наивных,
 кто-то в облаках ухмыльнется:
 - Смешно, сатира!
 Сварите кашу, спелый колос перебирая,
 Не вздумайте слезы лить и
 В упор молчите.

Кто с войны к нам не вернулся - искать нелепо!
 Их именами собственных чад больше не кличьте!
 Забудьте свое прошлое, от своих же склепов,
 Отвернитесь и в ту сторону переклонитесь,
 Где спасением последняя лежит надежда -
 Наполненная ненавистью доза "Мабтеры"*,
 Из той сказки, которой мы подражали,
 Осталось - трупов пир и дымов напыление.

Всем дорогам и всем руинам, строгое смирно!

Всем полям, селам и городам, строгое смирно!
 Всем невестам под куполами, строгое смирно!
 Героически погибшим, всем героям смирно
 и
 равняйся нале-
 во.

Весна. Март месяц. число опять в заблуждении
 назвать. хотя нет смысла помнить тех минут прошлых,
 что уже было. и что осталось. холодно. жарко.
 Климатконтроль все так же сломан. по краям рвется
 огромный глобус, объединенный метастазами.
 Двойка за поведение.
 Мы на оценку высшую вновь не запомнили.
 Дремлем-
 Полнимся.

* Мабтера - препарат для лечения раковых заболеваний

ЖАННА

Это я, Жанна.
 Одна простая сердцем грузинка
 Знатного рода.
 С утра в родном городе прошлась.
 До щиколоток злость достала.
 Девственной кровью наполнялись до края души
 Кто-то на первый сон весенний ставку ставил,
 Слепой ветер вместо платьев наряжал женщин
 - в грехи земные.

А дети взгляд не отводили -
 Но не видели...
 Война Жанна.
 Битва странная -
 Уютом веет,
 Будто в колодец звук роняет безвозвратно.
 Солдаты мирно равняются
 На левом фланге для моей защиты,
 Но как только разрушу зябкую тишину
 В хранилище часа
 Миготом от меня отделяются,

Словно от манускриптов древних,
 Что в архивах не сохранились и
 Их пепел, вместо ненависти поделили.

Жанна, я давно испарилась. Проходит время
 И внутри себя все желания ломаешь громом,
 Перед тобою дверь ни разу не отворилась
 И бук тоже не пригодился доскою для гроба,
 Если хотела больше, больше... рассказать больше,
 Но в соленое озеро все фразы макала,
 Чтоб потом, между пальцами под высоченной костью
 Скользкие мысли в обветшалом альбоме века
 Заклеить и не нужно было лишнее слово
 Никому... раз не вычислила промчавшим мигом
 Кому что опять не хватило, кому по горло
 И кто дерево посадил, а кто перепилил.

Это я, Жанна.
 Одна простая грузинка
 Знатного рода.
 Не научилась,
 Чтоб не страдала.
 С утра в родном городе прошлась,
 До талии ненависть достала
 Увидев маму,
 Не выплакавшую могилу сына.
 И может дети только тогда к нам возвратятся,
 Одиночеством собственным бескрайные поля
 Когда застелим и посеем общие слезы.
 И был цирюльник - вместо волос косил газоны,
 До шеи ненависть достала-
 Не удушилась.
 Шел мой сосед, мамины вещи
 На «Мшрали Хиди»*
 Тащил, чтоб сдавать напоследок,
 И рядом поэт,
 Который предал себя сам и для спасения
 Поверил в вечность.
 А дети опять взгляд не прячут-
 Но все не видят...
 Наши же сны нам мерещатся миром реальным
 И наконец-то, когда веки вдруг открываем,
 Он исчезает.

Жанна, сказали, что та страна лишь в забвении,
 Кто нуждается, жаждет иметь своих героев
 И если на миг отошла я от течения,
 Не пошла за ним, это значит... не ухмыляюсь.
 В глаза пустые не верила и прямым взглядом
 Другим на милость не просила даже улыбку,
 И то была я целой, то вновь часть чего-то,
 То слишком много, то карали как единицу.
 Огнем горело крохотное, сырое тело
 И дрожа пламя дуло, дуло к земле все время,
 Кому мы нужны, когда молчим, или вслух стонем,
 Когда вдруг больно и боль свою забыть посмели.

Война Жанна.
 Битва странная-
 Уютом веет,
 Будто в колодезь звук роняет безвозвратно.
 А ты вновь сожгись,
 А ты еще раз сожгись,
 И телом моим вновь ты сожгись,
 И смертью моей ты вновь сожгись, Жанна!..
 Я этой стране
 Даже пеплом больше не нужна.

NONSTOP

Представь, что жизни приблизился конец нежданно,
 Проходим путь и после невмочь начать с осколков,
 В черное вино, как хлеб ржаной, макнули "эго",
 Друг с другом стали смелыми и сошлись настолько,
 Не свежих красок ищем мы на белом мольберте,
 Просто взгляд больше не отводим с наших закатов.

Представь, мы свои собственные согнули спины,
 Позвонки с него безнадежно сыпятся камнем,
 Годы, как старый рваный ранец, тянут нам плечи,
 Ищем друг друга, за дорогой дорога манит,
 Нам скромный ужин накрывает, голодным, вечер,
 И у костра ждет наше общее знамение.

Представь, нас больше не заводят те собрания,
 Галантные, наполовину лит-элитные,

Сателлитные антенны нам внедрены в ребра,
 Когда мы ездим на метро и часто эн-туром
 В плановый круиз, вдруг кого-то не добираем,
 Молчим искусно, соглашаться когда нам трудно.

Представь, что нынче мы не знаем, где разбросаны
 Время... пространство... наше древо где затоплено,
 Душа родная, или просто к нам заселили,
 Читаем Ницше, бестселлер о Гарри Потере,
 Идти желаем, иль остаться к совести ближе
 Под сущим небом, ибо сбежать в зеленый отель.

Представь, промчится время, много, да может мало,
 Уже на лице мы землистых морщин засудим,
 Ни одно письмо не получим больше по почте,
 Одиночество – последняя покупка жизни,
 Встанет посреди улицы и прокричит: nonstop,
 В темном подвале кто-то листом поранит пальцы.

Представь, едва ли мы поэты, похожи только
 И не один там не остался в речных глубинах,
 Под одним солнцем разноцветна гамма палитры
 И оба могут сделать светлой погоду сами,
 Сами рождаем в подземелье своих же трупов
 И потом землю покрывает белесый саван.

Представь, вовсе не существуют медаль, погоны,
 В сердцах друг друга без причины когда беднеем.
 Нас, как деревья, участь в лесу вновь ветром кружит
 И в том лесу, на наших ветвях, в ночнушках бродя,
 Наши призраки накрывают нам скромный ужин,
 В миг промелькнувшим кратким и вечным затмением.

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ

Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премии «Антибукер», «Русской премии». Живет в США.

Ника ДЖОРДЖАНЕЛИ

* * *

Не потому пишу, что лжива жизнь,

не потому, что время быстротечно.
Проще: твоя беспощадная красота
делает творчество неотвратимым.

Что подливает масла в огонь
сочинительства, чем я горжусь, отчего я так счастлив?
Просто я пишу на том языке, шелест которого
не отделить от твоих уст.

Трудоемкие строки мои
Постепенно становятся зеркалом,
и ты его мало-помалу
начнешь предпочитать настоящему.

В этих строках найдем мы приют,
когда нас выселят из барака времени...
Говори, не молчи, говори,
лаская губами грузинскую речь.

Шота ИАТАШВИЛИ

ШРАМ

Вначале был шрам
И шрам был у Бога
И Бог был шрамом.

Шрам первый: И увидел Бог свет, что он хорош,
И отделил Бог свет от тьмы.
И сказал Бог: вот шрам мой,
Первая рана на моем лице,
На границе света и тьмы
Будет заживать труднее всего.

Снова Господь поразил лик свой небесным лезвием и сказал:
Се, шрам второй, видный на водах,
Верхние воды – небо, нижние воды – земля.
Верьте, не верьте,
Но и на воде можно сотворить надрез
И вступать в него, сколько угодно
(если угодно).

И был вечер. И было утро. И были шрамы.

Первый, второй.
 Не обошлось и без третьего.
 Однако Бог улыбнулся и сказал:
 Ерунда это, а не рубец.
 Только для красного словца он и нужен.
 Но во имя единства стиля
 Третью рану мы тоже напомним шрамом
 (как трещину в земле или асфальте
 от пробивающихся трав).

И на четвертый были шрамы,
 И шрамы были с Богом,
 И Бог был шрамами
 В этот труднейший из дней,
 И направлены были они
 На все четыре стороны света.
 На пятый день Господь отдыхал от шрамов.
 Радуюсь, выпускал он рыб в моря и птиц в небеса.
 А они, изумленные и растерянные,
 Барахтались, разрезая воды и воздух,
 Так что и пятый день пришлось назвать Днем шрама.

О шестом дне помолчим, ибо сколь ни
 Труден был первый день и нелегок четвертый,
 Самый болезненный шрам пришелся именно на шестой.

А на седьмой день наступил отдых от шрамов.
 Да, отдых от шрамов был у Бога.
 И сам Он был – весь – отдых от шрамов.

Звиад РАТИАНИ

* * *

В эту страну часто тянет влюбляться. Бывает,
 и ты поддаешься соблазну, особенно если
 тонет дорога в июльских горах, вьется. “Мои
 славные, я вас люблю!” - хочется крикнуть
 придорожной деревне и коршуну, вывешенному,
 как флаг, на околице, и лесистому склону, откуда он
 спустился, и вотчине коршуна – небу меж горных
 вершин, и траве, ждущей кровавых перьев
 будущей жертвы, и самой этой жертве, что хищник

не успел еще высмотреть. Лает дворовый пес,
на забор бросаясь. Девочка-замарашка
провожает взглядом твою машину. Что делать
с внезапной радостью в сердце? Боль — проще, о ней
так нетрудно писать, но что сочинить о радости,
если справиться с нею недостает
ни одиночества, ни таланта?

КАМИЛЛА-МАРИАМ КОРИНТЭЛИ

Писатель, журналист, переводчик. Член Союза писателей и Федерации журналистов Грузии. Живет в Тбилиси.

Нодар ДУМБАДЗЕ

ОТКУДА В ГОРОДЕ ЯСТРЕБЬ?

Арчилу Ергемлидзе

Дыхание моря достигало кофейни. Воздух был тяжелый, соленый и влажный. Я и Ачико сидели за круглым столиком и в ожидании кофе потягивали коньяк из крохотных, с наперсток, рюмочек.

Бармен – армянин-репатриант четко манипулировал маленькими медными джезве, двигая их в раскаленном песке, точно музыкант, выстукивающий на доли ритм блюза. Кофейня, сооруженная из обожженного бамбука под огромной цветущей магнолией, сама похожа была на отдыхающего, который вышел на набережную попить кофе. Бармен принес джезве и наполнил наши чашки до краев. Я, не дожидаясь пока осядет пенка, отпил глоток, глубоко вдыхая пьянящий аромат.

- У тебя что, глотка луженая? - спросил меня Ачико, поспешно ставя обратно свою чашку.

- Нигде не варят кофе так, как в Батуми, - помолчав, сказал я с удовлетворением,

- В Сухуми, - заметил Ачико и поднес чашку к губам, но отпить все не решился, только жадно вдохнул пар и прикрыл с наслаждением глаза.

Пока Ачико раскачивался, я выпил свой кофе и опрокинул чашку на блюдечко, как обыкновенно делают любители гадания на кофейной гуще.

- Ты умеешь гадать?- поинтересовался Ачико.

- Да так, немножко.

- Кто научил?

- Соседка, Ляля. Она потрясающе гадает. В прошлом году, перед рыбалкой на Кодори она мне погадала. Сказала, будь осторожен, тебе встретится змея.

- Естественно, человек, отправившийся рыбачить на реку, может встретить змею, чего там гадать! - засмеялся Ачико.

- Что было, то и рассказываю.

- Ладно, валяй! - махнув рукой, сказал он.

- В первый же раз, как я забросил сеть, вытащил из воды полутораметровую змею...
- Врешь! - прервал он меня.
- Клянусь матерью!

Ачико протяжно свистнул.

- Она мне еще раз гадала...

- И что?

- Вижу, говорит, тебя на чьей-то могиле, ты стоишь на коленях с цветами в руках.

- И что?

- Наутро умер Гулда.

- Ну да!.. - чашка застыла в руке Ачико.

- Вечером того дня Ляля прибежала ко мне выражать соболезнование... стала извиняться, я, говорит, дура, глупая, такое тебе нагадала... а сама ревет...

- Ерунда, простое совпадение... - сказал Ачико и задумался.

- Возможно. Только с того дня я больше не гадал.

- Ерунда, - повторил Ачико и перевернул свою чашку прямо на столик.

Я не промолвил ни слова и отпил коньяк.

- Ну-ка, загляни в мою чашку, - через некоторое время сказал Ачико и протянул мне свою чашку.

Я взял у него чашку, заглянул. Дно было совершенно закрыто гущей, а на стенках обозначились какие-то причудливые узоры и иероглифы.

- Не умею я гадать, - сказал я, протягивая ему чашку обратно.

- Давай, давай, - подзадорил он меня.

- Плохая чашка, - заявил я.

- Все-таки что ты там видишь?- не отступал он.

- Море. Море вижу и корабль...

- А капитана? - засмеялся он.

- Птицу вижу.

- Может быть, самолет? - снова засмеялся он.

- Настолько я не разбираюсь, - сказал я и вернул чашку.

Кофейня со стороны дороги приличия ради была огорожена неким подобием проволоочной изгороди. Вдруг на эту изгородь прилетел воробей.

- Чирик! - возгласил он и оглядел нас.

- Ага, твое предсказанье сбылось, птица - вот она, черед за капитаном корабля, - начал балагурить Ачико.

Воробей глядел на нас, глядел, потом взъерошился, распушил перышки, встряхнулся и вдруг, сорвавшись с изгороди, прилетел и сел прямо на наш столик.

- Однако какой нахал, - удивился Ачико.

Воробей набросился на маленький кусочек хлеба, пытаясь ухватить его клювом. Его крохотные лапки и коготки смешно скользили по пластику стола. Наконец он кое-как ухватил клювиком хлеб и, вспорхнув, улетел снова на свою изгородь. Оттуда он продолжал

посматривать на нас, не выпуская из клюва своей добычи, затем раскрыл крылья и куда-то улетел.

- Видал, как он нас ограбил, этот разбойник? - удивленно глядя на меня, сказал Ачико.

- Гениально назвали его русские - воробей!

- То есть в чем гениальность?

- «Вора бей», понимаешь?

- Да ради бога, это ты сейчас придумал, - недоверчиво проговорил Ачико.

- Не я, а русские придумали пичуге такое название.

- Вообще-то верно, название точное, - усмехнувшись, согласился он. - Гляди-ка, он опять тут как тут! - воскликнул Ачико и подвинул на краешек стола еще кусочек хлеба. Воробей на этот раз к хлебу не прикоснулся, сидел себе на изгороди, склонив на бок голову, и глядел на нас вызывающе, с задором.

- Чирик, чирик, - произносил он время от времени и менял при этом место.

- Могу поспорить, что он знает грузинский и подслушивает нас, - серьезно сказал Ачико.

- Смотри, не ляпни что-нибудь, вдруг он турецкий шпион! - предостерег я Ачико и от души расхохотался.

- Ты шутишь, а он, гляди, как слушает.

Воробей и вправду вел себя удивительно. Он склонил головку таким образом, что одно его ушко было обращено к нам.

- Кыш, сплетник этакий! - прикрикнул на него Ачико и взмахнул рукой. Воробей не шелохнулся.

- Ну, господин воробей, чего изволите? - осведомился тогда Ачико.

Воробей ему что-то ответил.

- О, пожалуйста, сию минуту! - Ачико засуетился и поставил на землю свою чашку.

- Чего он хочет? - поинтересовался я.

- Кофе, говорит, желаю, небось, сами пьете, а я разве не человек?

Воробей слетел с изгороди на землю и с опаской стал приближаться к чашке.

- Иди, иди, не бойся! - подбодрил его Ачико.

Воробей заглянул в чашку и принялся клевать кофейную гущу.

- Но, но, не увлекайся, чего доброго, сердце себе испортишь, - забеспокоился Ачико и нагнулся, чтобы поднять чашку. Воробей вмиг улетел обратно на изгородь. Ачико насыпал себе на ладонь хлебные крошки и протянул воробью.

- Закусывайте, сударь!

Воробей после недолгого колебания распустил крылышки и подлетел к руке, но не сел, а начал описывать над ней круги. Видимо, считая, что осторожность никогда не мешает, он несколько раз облетел протянутую ладонь. Ачико не шевельнулся, замер, и воробей решился: сел на его ладонь. Но прежде чем начать склевывать крошки, он заглянул в глаза Ачико.

Невольно и я посмотрел ему в глаза. Они были полны безграничного удовольствия и любви, карие глаза Ачико. Воробей доверился этим глазам... Он спокойно начал клевать крошки с огромной ладони.

Покончив с этим делом, воробей снова уселся на изгороди и вытер клювик о раздувшийся зоб.

Затаив дыхание наблюдал я за всей этой сценой. Если бы кто-нибудь со стороны видел все, что здесь сейчас происходило, ни за что не поверил бы, что воробей этот не дрессированный и Ачико не его дрессировщик.

- Ты просто Дуров! - с восторгом сказал я ему.

- Не я Дуров, а он, смотри, что он со мной выделяет, - возразил вошедший в азарт мой приятель и насыпал крошки себе на голову. - Пожалуйста, сударь, угощайтесь! - пригласил он птичку, широко разводя при этом руки.

И вдруг произошло что-то невероятное... невероятное и ужасное... Огромная крестообразная тень пронеслась над столом, и воробышек исчез! Исчез наш воробей!

- Что случилось? - спросил ошеломленный Ачико.

- Ястреб... - едва ворочая языком, проговорил я.

- Куда девался воробей? - надтреснутым голосом спросил он.

Я пожал плечами и с трудом проглотил слюну.

Ачико вдруг сорвался с места и подскочил к бармену.

- Помоги!

- В чем дело?

- Воробей!

- Что за воробей? - обалдел бармен.

- Ястреб, моего воробья унес ястреб!

- Ты что говоришь, слушай, откуда в городе ястреб? - махнул рукой бармен и зашел на свое место.

Ачико бросился ко мне.

- Куда делся воробей?!

- Сядь, - попросил я его.

- Куда делся, говорю!!

- Ястреб его унес...

- Как это унес?! Мы сидели втроем, ели, пили, смеялись, и он налетел, утащил - и все, и больше ничего?!

- Полно, Ачико, - взмолился я.

Ачико смотрел на меня дикими глазами. Потом сел, опустил лицо в ладони. Долго он так сидел.

- Ладно, Ачико, будет тебе... - я положил руку ему на плечо. Он стремительно поднялся и ушел, не оглядываясь.

Какое-то время я продолжал сидеть в одиночестве. Потом ко мне подошел бармен.

- Упился? - спросил он.

- Кто?

- Твой друг.

- Да нет, понимаешь, мы ведь даже и не пили, сидели втроем, вот так: я здесь, он там, а он...

- Как это «втроем»? - Бармен подозрительно поглядел на меня, потом на бутылку, но бутылка оказалась выпита всего лишь на два пальца.
 - ...он, воробышек, сидел там, на изгороди, и вдруг этот ястреб...
 - Да вы что, оба спятили, откуда в городе ястреб! - вышел из себя бармен.
 - Говорю, ястреб, вот как сейчас тебя вижу...
 - С тебя десятка, - холодно прервал меня бармен.
 Я протянул ему десятку и встал. Когда я вернулся в наш номер, Ачико лежал навзничь на своей кровати. Он плакал.

АНДРЕЙ КОРОВИН

Поэт, крити. Руководитель литературного салона «Булгаковский Дом». Инициатор и руководитель Международного литературного Волошинского конкурса, Международного литературного фестиваля им. М.А.Волошина. Живет в Москве.

Шота ИАТАШВИЛИ

КАРАНДАШ НЕ-В-НЕБЕ

(из «Канцелярского цикла»)

приснился мне карандаш
 не в небе
 а в канцелярском магазине
 и монета в 20 тетри приснилась мне
 чтобы купить карандаш Кохинор
 приснившийся в магазине
 и засесть за сочиненье стиха
 да только вот
 сначала стих не писался
 то не было темы
 то рифмы не было
 то кавалькады слов не проносилось мимо
 и я водил карандашом по бумаге
 без всякой мысли
 рисовал бездушные фигуры

а потом
 мне приснился карандаш в небе
 рисовавший тонкие линии на голубом листе
 эти линии были очертаниями облаков
 от наших высохших слез
 эти линии наполнялись темнотой

предвещавшей дождь
но все это мне только снилось

а в самом настоящем канцелярском магазине
лежал самый настоящий карандаш
отнюдь не для не рисунков на небе
и у меня была монета в 20 тетри
чтобы выкупить его на свободу
вернуться домой
и написать

что Бог
каждому пишущему дает карандаш
и у карандаша есть сердце
и сердце это – графит
а раз так
объясняясь тебе в любви
я скажу
что у меня стучит графит
когда я вижу тебя
а когда ты глядишь мимо меня
мой графит умирает
и так снова и снова

но этим
я ничего не смогу изменить
не смогу
написать тебе самые верные слова
на небесно-синих
бледно-голубых
или выцветших листьях

просто сяду
уставившись на карандаш
купленный в одном канцелярском магазине
и он будет длинным
длиной в мою жизнь
и со сломанным
как моя любовь
носом

еще я вспомню
что его можно очинить той же бритвой

которой недавно пытался починить свои вены
и представлю как карандаш
стремительно укорачивается
когда пишу и пишу
о длине своей жизни

постепенно мой карандаш иссякнет
его стружки будут кружиться в воздухе
пока наконец не вернуться к стволам
своих предков
а я буду думать
что общего в нашей с ним жизни
и стану тогда шептать
свои последние рисунки
или последние слова
прорисовывать на бумаге
Кохинор Кохинор буду бормотать
высоко задирая голову
чтобы увидеть мой карандаш
и взгляд остановится
и замрет без движения
а я наконец улыбнусь
вспоминая фантазии юности

канцелярские магазины
на небесах
карандаши с потайными названиями
Кохинор Кохинор
и волшебная монета в 20 тетри
которую можно обменять на эти карандаши
никто не знает
явь это или рисунок карандаша
то есть сон
никто не знает
сломается ли у этого карандаша нос
на самом важном слове
или нет
никто
кроме меня
не знает

а я
единственный человек

знающий тайны карадашных судеб
сиджу за отполированным локтями столом
и мой карандаш
с черным грифельным сердцем
заставляю работать
как наемного турка
это я
коварный капиталист
который накопил
несметный капитал в 20 тетри
и теперь эксплуатирует
все карандашество

вот так и сама жизнь
с ее делами и фразочками
вошла в это стихотворение
но ничего не напишешь
я же сразу сказал вам
что эти стихи не о небесном
а о простом карандаше
и мы должны быть готовы для всего
особенно для простой поэзии
которую без устали выкрикивает
умирающий карандаш
купленный в канцелярском магазине
и которая в конце концов
как раз тогда когда никто уже не ожидает
воплотится в небесную поэзию
для приземленных людей
станет похожа на сон
и приземленные люди скажут
что им привиделся где-то карандаш
с длинным и черным сердцем
и траченной молью душой
и что смотрят на них
новые люди
пришедшие на Землю
глядящие в небеса
с новыми
волшебными карандашами
в руках

МОЛИТВА В БОЛЕЗНИ

Господи
спаси меня
не дай страху овладеть мной
вот крепко спит моя мама
а рядом с ней
тело мое дрожит бедное
вздрагивает от спазмов

Господи спаси
не дай страху овладеть мной
сегодня ночью
в этой маленькой комнате
где я говорю с тобой
а рядом спит моя мама

Господи
войди в сердце мое
войди в тело мое
и спаси

Господи
вот мед
что принес мне Дато Акриани
будь медом моим
что залечит все раны
в теле моем
и в душе моей

Господи
вот мацони
что принес Дато Барбакадзе
стань этим мацони
спасающим меня

и мама моя
каждое утро
будет молиться
за тебя

ЛИЦО

Однажды
у него устало
лицо.
От дежурных улыбок,
от жгучей грусти,
от всей этой балаганной жизни
мимических мышц.
Устало
от общения
с зеркалом.

А ведь у него была рука,
которая, устав, всегда отдыхала.
Еще у него была нога,
которая уставала не меньше,
но тоже всегда отдыхала.
Даже натруженное сердце
получало заслуженный отдых.
Я уж не говорю про уставший мозг...

А лицо,
вечно живое и неустанное,
вдруг, в одну секунду
утомилось у него.
Склонил он голову на подушку
и понял,
что никогда уж не выздоровеет,
никогда
не сможет восстановить силы
его лицо.
И закрыл он глаза, и умер:
со здоровыми сердцем и печенью,
с крепкими руками и ногами,
с ясным умом...

Сильно подвело его лицо.
Подвело тогда,
когда никто не ожидал.

.....

«Ах, мой сынок, мой сынок,
мой красивый сыночек ...» -
плакала нескольких дней

над лицеумершим
его безутешная мать.

ЛИССАБОН-СТАМБУЛ

из иллюминатора самолета
ты
вдруг увидел
кратер
который
бессчетные
тысячи лет назад
открыл свою пасть
и ты вздрогнул

в непрерывном гуле мотора
ты вдруг услышал голос
планеты Земля
она открыв свою пасть
что-то исступленно
кричала тебе снизу

кругом были разбросаны
игрушки-кубики
где знакомые и незнакомые
игрушки-граждане
молекульничали
друг с другом

а ты
широко раскрыв крылья «Туркиш Айрлайн»
смотрел на них сверху
ты обрел невесомость
и тебе
спутнику облаков
язык Земли
был уже непонятен

и вдруг
человечество
с открытой пастью
и крик

обращенный
будто бы только к тебе

крошки-дома
крошки-улицы
и крошки-площади
слились в этот крик
и то что они хотели сказать
начало надвигаться на тебя снизу
а ты смотрел сверху
видел
и понимал всю Землю
как одного человека

но в это время
одинокая леди
кокотливо штурмующая небеса
в фирменном мини
задержалась возле тебя
и предложила воздушную еду
завернутую в целлофан
с такой неземной улыбкой
что и ты
сразу переключился
с земного
на неземное

20 сентября. Над Италией. 2007 год

СЛАДКОЕ РОЗОВОЕ СЕРДЦЕ

стоим
в очереди за ар-
бузом я и
девушка с обгоревшей спиной
я вижу ее в стеклян-
ной витрине
(такой же гряз-
ной как
и арбуз
который я купил)
и улыбаюсь

в 1985 году в ал-
упке
и
арбуз треснул
и показал свое сладкое ро-
зовое сердце и я
улыбался
в 1991 году в ал-
упке
(в овощном
магазине)
стер пот с лица каж-
дый из нас держит в ру-
ках
один или два арбуза
выходим
из магазина
знакомые
незнакомцы
(все лица примелькались
в этом маленьком городке
встречами
утренними и вечерними
у самого моря)
пальцем показываем на солнце
сладкое розовое сердце
течет по
нашим губам

мы тогда не знали
поэзию э. э.
каммингса
а он бродил где-то рядом
и строчки его стихов
разбегались по переулкам
1985 год
держу
в руках
зеленый
арбуз
ногтями
соскребаю
с него грязь

солнце
залез-
ло в ухо гу-
дит там
девушка с обгоревшей спиной
куда-то исчезает
со своим арбузом
своим
(а почему бы и
нет?)
эдвардом
(эстлином каммингсом
уильямом карлосом
уильямсом)
все это действительно
БЫЛО
по-настоящему
БЫЛО
у меня из рук вы-
пал арбуз и по-
катился по набережной
алупки это и правда
БЫЛО
в 1991 году
в овощном магазине
или
где-то неподалеку

МАРИНА КУДИМОВА

Поэт, переводчик, публицист. Член Союза писателей Москвы. Лауреат премий им. В.Маяковского Совета министров Грузинской ССР, журналов «Новый Мир», «Дети Ра» и многих других. Живет в Москве.

Бату ДАНЕЛИЯ

Иду я и вижу: над городом июльское солнце
становится чернильного, чернильного цвета...
- Сейчас не то что человек – вода отдыхает, -
слышал я в эту пору в деревне. Здесь так не говорят.
Иначе тоже. Если кто-нибудь сверху кинет взгляд
на эти улицы, мы почудимся ему муравьями,
сползшимися на каплю меда...

Асфальт плавится...

Девушки точно раздеваются на ходу и на глазах...

Остолбенело взирают деревья на свои тени: неужто мы такие коротышки!..

У птиц, кажется, хватило ума разлететься кто куда: сидят у родника на влажных камнях или студят об водопад разгоряченные грудки.

Невольно завидуешь девочке, сидящей за фортепьяно, чьи пальцы ложатся на клавиши, как снежинки на заснеженную ветку, для которой не существует полдневной жары, для которой Вивальди и Моцарт вместили весь мир.

А граждане, столпившись по случаю перерыва в гастрономе, изумленно слушают полдневные звоны, где у каждого колокола – язык чернильного цвета...

Я же, как скорбно-усталый врач, держу руку на пульсе города и слушаю стенания мостовой...

ИННА КУЛИШОВА

Поэт, переводчик, журналист. Защитила первую в Грузии диссертацию по творчеству Иосифа Бродского. Живет в Тбилиси.

Шота ИАТАШВИЛИ

EXPERIENCE AFTER BLAKE

Роза,
которая увянет в твоей руке,
и ты предполагаешь, что
Время умчалось,
однако лишь предложения
вырвали у него душу.

Эх, розы со светлыми лепестками
в руках недостойных предлагающих.

Эх, недостойные предлагающие,
стоящие, как статуи, с вытянутыми руками.

Эх, сила,
сжимающая вянущие стебли роз.

ЭЛЕГИЯ

Очень грустный автомобиль
остановился на улице.
Он едва держался несколько минут
на своих утомленных колесах,
потом опустошенными фарами
освятил ночной безлюдный асфальт,
думал в течение нескольких секунд,
колебался,
наконец еле-еле поднял багажник
и потянулся
к неопределенному направлению.

Я стоял там же,
спиной прижатый к дереву,
и хотел
крикнуть ему:
“Эй, друг, подожди!”.

Но только “NIN 101”
пробормотал про себя
и почему-то до конца жизни
запомнил его имя,
облик и
его неуклюжие жесты.

ВИДЕНИЕ

Уоллес Стивенс увидел черного дрозда тринадцатью способами.
Я увижу тебя четырнадцатью способами.
Ты увидишь меня пятнадцатью способами.
Я увижу воробья шестнадцатью способами.
Воробей увидит зиму семнадцатью способами.
Зима увидит солнце восемнадцатью способами.
Солнце увидит меня девятнадцатью способами.
Я увижу поэзию двадцатью способами.
Поэзия увидит Уоллеса Стивенса двадцатью одним способом.
Уоллес Стивенс увидит черного дрозда двадцатью двумя способами.
Черный дрозд увидит весну двадцатью тремя способами.
Весна увидит тебя двадцатью четырьмя способами.
Ты увидишь этот стих двадцатью пятью способами.

Этот стих покажет тебе меня двадцатью шестью способами.
 Ты покажешь мне себя двадцатью семью способами.
 Я объяснюсь тебе в любви двадцатью восемью способами.
 Любовь покажется всем двадцатью девятью способами.
 Каждый засмеется и заплачет тридцатью способами.
 Я буду думать обо всем этом тридцатью одним способом.
 Ты будешь безразличным тридцатью двумя способами.
 Он будет мучиться ради нас в тридцать три.
 Мы откажемся и примем Его тридцатью четырьмя способами.
 Петух будет кричать тридцатью пятью способами.
 Черный дрозд будет единственной движущейся точкой
 в снежных горах тридцатью шестью способами.
 Я прочитаю Уоллеса Стивенса тридцать семь раз.
 Уоллес Стивенс будет видеть черного дрозда и тридцатью восемью способами.
 Вы будете кормить черного дрозда тридцатью девятью способами.
 Я посмотрю в твои глаза сорока способами.
 Ты закроешь свои глаза сорока одним способом.
 Они будут видеть меня все-таки сорока двумя способами.
 Я буду жить все-таки сорока тремя способами.
 В жизни будет все-таки сорок четыре и даже больше способов.
 Уоллес Стивенс даст нам это знание сорока пятью способами.
 Я приму это сорока шестью способами.
 Ты примешь меня сорока семью способами.
 Мы будем слушать черного дрозда сорока восемью способами.
 Снег будет бел на фоне черного дрозда сорока девятью способами.
 Солнце взойдет пятьюдесятью способами
 и спустится сорока девятью способами.

ДВИЖЕНИЕ

Ветер веял и нес женщину.
 Женщина летела, а мужчина следовал за ней.
 Мужчина бежал, а за ним – его друзья.
 Друзья шли, и стояла пивная.
 Стояла пивная, а пиво прокисло.
 Пиво прокисло, а трактирщик старел.
 Трактирщик старел, у него выпадали волосы.
 Падали волосы, и падали бомбы.
 Падали бомбы, и рушились дома.
 Рушились дома, и строилась новая пивная.
 Новая пивная строилась, и шли новые друзья.
 Шли новые друзья, и бежал новый мужчина.

Новый мужчина бежал, и новую женщину нес ветер.
 Новую женщину нес ветер, и веял старый ветер.
 Старый ветер веял, и крутились ветряные мельницы.
 Крутились ветряные мельницы, и рождался Дон Кихот.
 Дон Кихот рождался, а Сервантес умирал.
 Умирал Сервантес, и умирал Шекспир.
 То есть было 23 апреля 1616 года, и
 литература скорбила, а Бог смеялся.
 Бог смеялся, а иногда смеялся и мужчина.
 Мужчина смеялся и пил пиво.
 Или наоборот: сначала пил пиво, затем – смеялся.
 А затем плакал.
 Потом он вставал и, шатаясь, шел за женщиной.
 Женщина бежала в хвосте у ветра.
 Ветер веял и пытался нагнать луч света.
 Мужчина стоял и наблюдал за их игрой в ловитки.
 Мужчина иногда был физиком,
 иногда поэтом,
 иногда пьяницей.
 Мужчина часто заходил в пивную.
 И прежде чем пиво прокиснет, а трактирщик – постареет,
 пил пиво и беседовал с друзьями,
 а Бог смеялся,
 Бог смеялся...

И ветер веял...

ОДА ОДЕЖДЕ

Не создал Бог человека в чем мать родила.
 Бог его создал в одежде.
 В белье, платье, брюках, носках...
 Человек есть человек благодаря одежде.
 Когда он одет, то думает, говорит, любит ближнего иначе,
 по-другому улыбается, верит в себя...
 Только одетый жмет руку одетому,
 только одетый рисует нагого,
 только одетый поет "Цинцкаро" и танцует "Хоруми"*...
 Человека Бог создал в шапке и обуви.
 Создал даже в пионерском галстуке, с бабочкой, с шарфом...
 Человек одетый влюбляется в женщину,
 одетой дарит цветы и впервые целует...

Женщина тоже мужчину одетого любит...
И вообще, если любовь существует,
то потому, что, творя человека,
Бог уже имел готовый для него гардероб...
В гардеробе для женщин была косынка,
была чадра,
был корсет...
Для мужчины – сутана, бушлат, чоха**...
Для Единственного – Хитон...
Бог человека любит и одетого, и нагого,
но больше одетого любит...
Бог – наш истинный первый дизайнер...
Случилось однажды: ученый голый лежал в ванне
и один закон вселенной открыл.
Но это было однажды.
После этого новые и более глубокие тайны мира
ученые постигают одетыми...
Электричество, телевидение, авиация, Интернет
одеждой открыты...
Одежда – гений!
Одежда пишет шедевры: пером гусиным или компьютером...
Одежда пишет священные книги...
Одежда – Святой,
Одежда – эстет,
Одежда – великий мудрец...
Каждая имеет особый талант:
Например: тога – оратор, философ,
парик – музыкант, ученый,
майка – футболист, волейболист, баскетболист...
Комбинезон одевается на тело,
голова покрывается скафандром, и человек в небо взмывает
(в гардеробе Господа вместе с сомбреро,
шляпами, кепками,
оказывается, висел и скафандр...)
Если б не так, то человек своей голой стопой
никогда бы луны не коснулся...
Сперва оденьтесь, покройте голову, люди, затем в космос направьтесь...
Сперва оденьтесь, а потом можете к черту катиться...
Спускаться в шахту...
В Начале было...
В Начале была чуть ли не одежда...
После ее создания
человек-одежда осеняет себя крестом и молится...

человек-одежда со своим другом
 человеком-одеждой пьет вино
 и говорит с ним обо всем человечьем-одежном.
 Человек-одежда пашет землю и урожай собирает...
 Спаси Бог человека одетого!
 Помилуй Бог человека вместе с его шортами, джинсами, фракком!
 Помилуй со своими чувяками,
 в которых он мирно шаркает дома,
 создавая семейный покой!..
 Освяти его подтяжки, липы и панталоны!
 Освяти также плавки,
 поскольку уже в день второй
 по Своей великой воле
 вместе с твердью Ты создал и море...
 А раз так, то освяти все секонд-хенды,
 все фирменные магазины со своими сейлами!
 Благослови всех портных, сапожников, модельеров...
 Благослови руку женщины, аккуратно сшившей
 Хитон Иисусу...
 Благослови, Господи, швейные фабрики!
 Благослови, так как человек есть человек благодаря одежде...
 Одеждой живет, мучается, трудится и любит...
 И когда отправится в мир иной,
 Одежда даже защитит его ненадолго...
 Она, как герой, принесет себя в жертву натиску червей...
 Господь Всесильный, хорошо,
 что не создал Ты человека в чем мать родила,
 хорошо, что создал одетым его, с покрытой головой!

* Грузинские национальные песня и танец

** Грузинская национальная одежда

* * *

Прижал к груди, да растаяла –
 поскольку снегом была.
 Спрятал, да выползла плесень –
 хлебом была.
 Снял кожуру, да плакать заставила –
 луком, луком была!
 До мельчайших частиц измельчил, да целой осталась –
 да, Изидой была.

Поджег беспощадно, да не сгорела –
 банально: рукописью была
 Переделал, да не переделалась –
 воистину: диким орехом была.
 В даль запустил, да вернулась –
 что другое еще: бумерангом была.
 Убил, да оказался между листами настольной книги –
 гербария редким листком была.
 я пригляделся, да, думал, женщина –
 поскольку всякой была.

Звиад РАТИАНИ

ЖИЗНЬ СРЕДЬ КАМНЕЙ

Да понимаю я все.
 И сам такими же мудростями одурачивал
 себя, и сердце свое, но затянулась –

эта время собирать камни – я правильно сказал? – и вот эта время
 что-то слишком, постыдно затянулась:
 все камни и все камешки, большие и крошечные, собраны,
 огромные стены воздвигнуты
 вокруг меня,
 высокие такие –
 если и придет пора разбрасывать,
 даже самый легкий камешек не перебросить
 за стены.

И шевельнуться боюсь – ведь могут упасть
 эти мои, годами собираемые, выразительные камни
 и раздавить меня. Сижу неподвижно

и рассматриваю каждый камень по отдельности;
 в некоторые, случается, влюбляюсь,
 но не решаюсь признаться.

ДРУГОЙ БЕРЕГ (Фрагмент)

Солнце спускалось куда-то в сторону, не в море,
 и само море было каким-то не таким, северным,
 с удивительно плоской тканью поверхности

и с тонким, глазом почти неуловимым, горизонтом,
 линия которого проходила гораздо ближе,
 чем в том другом, единственном море,
 которое я видел. И я, девятнадцатилетний
 и слегка удивленный, что даже моря не похожи друг на друга,
 с радостью смотрел на красивую русскую девушку,
 которая выходила из воды на берег, ступая
 медленно, спотыкаясь – так как дно было каменистым. Солнце спускалось,
 и в его лучах блестело тело, покрытое глазурью соляной воды,
 я же был девятнадцатилетним, прошлого пока не имевшим, и не мог понимать,
 что это и есть красота: удачное сочетание
 нескольких теплых цветов, и только...

* * *

Пора, чтоб и я был наказан.
 Хотя бы из-за тебя.
 Как я тебя разбудил.

Ты жила во сне,
 сон был кошмарным.
 Там всех убивали,
 и за тобой гналась смерть.

И ты убегала,
 пробиралась среди трупов,
 мир рушился вслед,
 а я разбудил.

И тебя ужаснула непривычная тишина,
 утренняя комната, белые стены, моя улыбка.

Не сумела поверить в явь.
 Но и назад не смогла вернуться ко сну

и умерла –

умерла так быстро,
 что вряд ли успела возненавидеть меня.
 Умирая, скорее, еще любила.

Были и другие грехи. Потяжелее. Полегче.
 Полегче – в которых не решаюсь признаться.

Потяжелее – о которых забыл.

И уже пора, чтоб и я был наказан.

И наказан сурово.

Пора, чтоб и меня разбудили.

ВИКТОР КУЛЛЭ

Поэт, литературовед, переводчик. Защитил первую в России диссертацию по творчеству Иосифа Бродского. Живет в Москве.

Ника ДЖОРДЖАНЕЛИ

ЛЮБИМАЯ ОБНАЖАЕТСЯ

Ты, обнажаясь, приносишь присутствие времени.

Жар возвращается пеплу истлевшей судьбы.

Пляшет аквариум, - рыбки беснуются резвые.

С карты доносится рокот морей голубых.

Меж этажами мечется лифт суетливо.

И алфавит следует тела извивам.

Ты, обнажаясь, сама, вероятно, не ведая,

приподнимаешь глаза мои на постамент.

Как ни печально, но им не увидеть, наверное,

мерзость изжитой, и подлость – сошедшей на нет.

Их достоянье лишь в том, что ни гневом, ни желчью

взор не туманился. Даже в момент поражения.

Ты, обнажаясь, мудришь над электропроводкою:

в ней, вместо тока, струится горячая кровь,

сладко-соленая, алая, слишком проворная.

И не дано твой спадающий легкий покров

запечатлеть, словно арию, на киноленте.

Тот режиссер умер давно, к сожаленью.

Ты обнажаешься. Книги в тяжелых обложках

наперебой мне повествуют о прошлом,

сияясь поведать сокрытые тайны несметные.

Но лишь в тебе, обнаженной, я вспомнить надеюсь

ту красоту, что провидел еще до рождения,

только в тебе для меня вероятно бессмертие.

Ты обнажаешься, и капиллярными нитями
медленно переполняет меня изнутри
благоговенье пред Сущим, столь неизъяснимое,
что не сумею достойно возблагодарить.
Силюсь сказать. Непослушные губы немые,
чтобы коснуться бессмертья хотя бы на миг.

Ты обнажаешься – тихо, как храм оскверненный
после татар обживается Богом по новой.
Смолкло на улице яростных птиц голошение.
Даже машины бесшумны. Беззвучная местность
вся в ожидании. Чудо так сладостно медлит.
И тишина знаменует его предвкушение.

Лбом прижимаясь к стеклу, озорное светило
шанс подсмотреть за тобою не упустило.
День проясняет лицо свое. Все сожаления
дымкой туманной рассеялись, снегом истаяв.
Ты, обнажаясь, струишься инфантою в танце.
Нашей совместною комнатой стала вселенная.

Обнажена! Наполняются легкие вдохом.
Я ни о чем не прошу – лишь позволь мне подольше
денно и ночью с тобою по этому адресу
бодрствовать вместе. И благодарить, умирая.
Старый чердак обернулся обещанным Раем –
тщетно подвал намекает на образы адские.

ДМИТРИЙ ЛОСКУТОВ

Поэт, переводчик. Победитель конкурса Фонда Б.Н. Ельцина на лучший перевод с национального языка на русский язык в номинации «Молодое перо». Участник Форума молодых писателей в Липках. Живет в Тбилиси.

Давид РОБАКИДЗЕ

ПЕРЕЖИВАНИЯ

1. Из прищуренных глаз солнце сегодняшнее
буквами золота вошло в свою незримую историю.
2. Будто вены мои перерезаны, - самолетом небо размежено,
словно кровью дымом залито, шумом

смерть приближалась бесцветная.

3. С чурчелой многоэтажной самолет столкнулся, бабушка доставала ее как раз из кастрюли с пеламуши, а я ладони готовил подставить под стекающие сладкие капли.

* * *

Жена Адама состоит из денег,
Из кофейных пенек,
Из табака, дающего клубов длиннющий дым.
Возьмем пингвинов, что остались с ними после
Клубов ночных,
Одарим их красюю неуместной.
Давайте лестницу воздвигнем от подъезда до затаившейся на чердаке кровати
И установим так дороги мудрости змеи.
С дециметровыми железными цветами (в качестве убранства) крышу дома
Возьмем и к яблоне, наполненной ржой, привьем.
Теперь пойдем осмотрим наш разрушенный забор Адама
И подберем все камни, брошенные в рай.

* * *

Мои чужие – мои же овцы
И я их пастух.
Однажды проник в настроение волк незаметно
И выкрал ягненка, овцою рожденного.
Смертью одною окончен был день тот.
Сегодня же овцы мои обернулись волками
И я – звездный пастух. Я – луна.

ОБЪЕКТ

Вижу: красная раскрылась скала, выскочил мужчина в галстук,
С оружием (законноприобретенным), мобилой, путаной, на джипе,
Заложил вираж влево, левее, по спуску пронесся и
Врезался в отель. Ворвался в ресторан, из кармана вырвал деньги,
До рассвета торчал в сауне.
Вижу: сауны дверь раскрылась, выскочил мужчина в галстук,
С оружием (законноприобретенным), мобилой, усами, на джипе.

Вывернул по пандусу направо, правее,
 Газанул и вперед — к зданию. В лифт, поднялся,
 Вошел в кабинет, подмял собой стул, задремал.

МАНЕКЕН

Все предусмотрю: твои глаза, твой нос, твои губы, твоё лицо,
 Твои уши, твои волосы, твою голову, твои плечи, твои груди, твои руки,
 Твой пупок, твои бедра, твой живот, твой лобок, твои запястья,
 Твои стопы, твои ляхи, твои колени, твои щиколотки,
 Твои стопы, твои пальцы и расстояние между нами —
 В целом ты меня волнуешь, и я должен тебя нарисовать,
 Чтoб опять по частям к тебе добраться
 И вновь вдохнуть в тебя душу.

Все предусмотрю: головы твоей купол с поломанным крестом, позвоночника ступени,
 Африки лопаток, клетку ребер, грабли рук, немую бабочку, дубинки ног, емкости
 бабок,
 Пирамиды пяток и расстояние между нами, — и попрошу повернуться.
 Все предусмотрю: ты повернулась, за тобой нарушаю пространство и рисую фон.

ЧТО ЗНАЧИТ ЧЕЛОВЕК?

Человек это:

Когда испечешь из замешенного глиняного теста копилку в форме человека и на
 месте ребра оставишь щель для мелочи.

Человек это:

Когда испечешь из замешенного глиняного теста копилку в форме человека и
 поставишь на базарный прилавок на продажу.

Человек это:

Когда испечешь из замешенного глиняного теста копилку в форме человека и
 приделаешь за спиной оглядывающихся детей, привязанных к движущимся
 родителям.

Человек это:

Когда испечешь из замешенного глиняного теста копилку в форме человека. Которую
 до конца дня не продашь и домой понесешь ее, незавернутую.

Человек это:

Когда испечешь из замешенного глиняного теста копилку в форме человека и
 ребенку своему завещаешь, чтоб, пока мелочь горло не перекрыла, переломили бы
 ее в хребте.

Человек это:

Когда испечешь из замешенного глиняного теста копилку в форме человека и никогда никому не сможешь объяснить, как ты это сделал.

МАРИНА ЛАМАР

Поэт, переводчик. Лауреат конкурса Фонда Б.Н. Ельцина на лучший перевод с национального языка на русский язык в номинации «Молодое перо» и Первого конкурса молодых русскоязычных литераторов Грузии в номинации «Драматургия». Участница Форума молодых писателей в Липках. Живет в Тбилиси.

Маквала ГОНАШВИЛИ

ЗА ПРОШЛЫМ СЛЕДУЕТ МОЙ ВЗОР

Как приговор, я зиму отбываю,
 Веригами сидит на мне пальто.
 Не думала, что в марте повстречаю
 Тебя совсем не мартовским котом.
 Вопросы, как обычно, односложны:
 Откуда? кто? зачем? и почему?
 Уловки марта ловко кормят ложью,
 Мартует март, как хочется ему.
 А я уже течение сменила,
 Другая страсть во мне рождает дрожь.
 И как тут в рай небесный попадешь,
 Когда от времени трухою пахнут крылья?
 Летала всюду. Разве было мало
 Страданий на пути? Конца им нет.
 И грязью забытья я замарал
 Все трещины запомнившихся лет.
 Умнее стала. Стычек нет с ветрами,
 И вещей снов давно не слышу зов.
 Но почему так грустно вечерами,
 Когда за прошлым следует мой взор?

Бату ДАНЕЛИЯ

ВЕТРЕНАЯ НОЧЬ СОЗРЕВАНИЯ

Ветер ночь ломал зубами,
 порывался в землю влезть.
 Я как домик с голубями,
 тоже сломан. Но не весь.

Словно первой ночи груди,
гроздья пышные тряслись,
табуном топтались тучи,
месяц терся о карниз.

Я небесной песни звуки
слушал, как глухие в ложе,
пылью став муки и муки
на осенне-спелой коже.

АННА ЛОБОВА

Поэт, переводчик. Лауреат Первого конкурса молодых русскоязычных литераторов Грузии в номинации «Поэзия» и международного поэтического турнира «Стихоборье». Живет в Тбилиси и Праге.

Шота ИАТАШВИЛИ

Фарфор
лукавый,
он будит во мне желание разбивать.

Должен вдребезги,
пока не попробовал множество губ
пока пыли на коже своей не набрал,
покуда не сгнил.

Таково его свойство.

А когда в него льют кофе с пеной,
закипает смола в аду,
и фарфор
(о, какую он жажду во мне распаляет
все разбивать!),

он страшен,
прекрасен
и беззащитен.

Его сладкая участь: осколками вдребезги об пол,

в нас и в воздухе тихо звенеть.
 И сейчас – и сегодня – и завтра – и после – потом
 дух мятежный фарфора
 должен вдребезги и:
 таково его свойство.

ДАВИД МАРКИШ

Писатель, переводчик. Удостоен семи израильских литературных премий, премии Британской книжной лиги, международной литературной премии Украины и грузинской литературной премии им. Вано Мачабели. Учредитель и заместитель председателя правления МФРП. Живет в Израиле.

Важа ПШАВЕЛА

ЗАВЕЩАНИЕ ЗЯБЛИКА

Гонит ветер изморозь колючую,
 Плачем зяблик, растревожив тишь.
 "Ты, всегда веселая, певучая,
 Птичка зяблик, отчего грустишь?"

"Разве ты не видишь – без приюта я,
 Одолел мороз меня в пути,
 И сковала сердце стужа лютая...
 Мне от смерти, видно, не уйти.

Не могу летать, не в силах двигаться,
 Лапок от камней не оторвать.
 Должен ты с детьми моими свидеться,
 Рассказать, что ты видал их мать.

Пусть они меня между сугробами
 Похоронят, как пройдет буран.
 Из фиалок пусть сплетут мне гроб они,
 Принесут мне роз из теплых стран.

Так ступай быстрее тропами горными,
 Не забудь, мой милый, что сказать.
 И тебя мои сиротки скорбные
 Будут добрым словом поминать".

Нико ГОМЕЛАУРИ

СТУПАЙ!

Когда себя и всех простишь,
 Когда очертишь цели,
 Когда ты отпрыска возрастишь,
 Когда в семье заели,

Когда уловишь гул судьбы,
 Когда с тревогой – врозь бы!
 Когда означен ход борьбы,
 Когда никчемны просьбы,

Когда нажим – и нечем крыть,
 Когда поступки плавны,
 Когда в кусты отступит прыть,
 Когда мозги исправны,

Когда забыт последний страх,
 Когда жена – довеском,
 Когда невесело в пирах,
 Когда сравниться не с кем,

Когда вздыхаешь вразнобой,
 Когда ворчишь сквозь зубы,
 Когда не справишься с собой,
 Когда унять слезу бы,

Когда блеск молний не страшит,
 Когда беда – скорее уж! -
 Когда смятеньем стыд прошит,
 Когда врага жалеешь,
 Когда кизил захлеб цветет,
 Когда вороний грай
 Над садом розовым ползет –
 Пришла пора. Ступай.

Михаил КВЛИВИДЗЕ

МЕЧТАТЕЛЬ

Р.Натадзе

Он в кресле сидит, сплетя задумчиво пальцы...
 И видит мальчишек, бегущих к Алгетке купаться,
 И сосен манглиских он помнит размеренный гул,
 И чувствует ветер, который их кроны пригнул,
 И видит он домик дощатый под крышею красной,
 И прелые листья, и тысячи разностей разных:
 Старуху в платке, что пропавшего ищет телка,
 Чванливых гусей на лугу – там, где вьется река,
 С профессором старым вечерние чаепитья...

Сидит он, давние припоминая события...

О, если бы хоть на мгновенье представить смогли вы,
 Какой он счастливый,
 Какой он, мечтатель, счастливый!

Алио МИРЦХУЛАВА

ГАЛАКТИОН

Ты был свеченьем духа озарен.
 Подобно молнии, с небес сошел ты в землю.
 Сияла жизнь – как ты, Галактион, –
 Небытие и смерть собой объемля.
 Народ безмолвствовал – курилась тишь вдали.
 Молчал народ – печаль сердца сдавила.
 Раздумья о раскаянье взошли
 С тобою вместе на гору Давида.
 Безмолвна и Мтацминда. Там все те ж:
 Луна отчизны, призраки поэтов...
 В безмолвии народа зрел мятеж!
 И было страшно и прекрасно это!
 Ушел туда, где тишь да благодать,
 Где тень лазурна и хрустальны воды...
 Вселенной тайну мне не разгадать
 Так же, как тайну твоего ухода.

Николо МИЦИШВИЛИ

ПАРОХОД «АБХАЗИЯ»

Сливается с волной далекий берег
 И тает, тает в сладостной истоме,

Как будто бы ползет охотник к зверю
 В курчавых камышах Палиастомии.
 Беременных судов исчезли бедра
 И сладкая батумская губа.
 Смежило солнце веки, и у порта
 Поникла тучек светлая гурьба.
 А на море наш лайнер многотонный
 Сметает горизонтов окружение,
 Поставленных коварным Посейдоном
 Волнам зеленым на вооружение,
 Чтоб в споре этом с озверевшей бездной
 Был побежден разумный род людской
 Волнами – ибо наш корабль железный
 Счел смачной снедью грозный царь морской.
 Дыханье ветра резче и короче,
 Седеют волн расчесанные пряди...
 «Не бойтесь, – молвил на корме рабочий, –
 Мы строили «Абхазию» в Ленинграде!»

Колау НАДИРАДЗЕ

ПАМЯТИ МАТЕРИ

Мы снова вместе, мама. Не сердись!
 Вот маленький наш домик за стеной.
 Вот лестница сбегает круто вниз.
 Меня не узнаешь ты? Я иной?
 Но неизменна ввек душа моя...
 Глаза в слезах. С чего бы? Не пойму...
 Гляди же, мама! Пред тобою я
 Склонюсь, твои колени обниму.
 Постой, моя родная! Не спеши!
 Я в сад спущусь – закат готов зардеться...
 В саду, под вишней, свет моей души –
 Там синеокое мое осталось детство.

Акакий ЦЕРЕТЕЛИ

ГУРИЙСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Ты пока в пеленках белых,
 В люльке дедовской простой.
 Вырастешь большим и смелым,

Сын любимый мой!
 Я измучена неволей –
 Годы рабства за спиной.
 У тебя ж иная доля,
 Сын любимый мой!
 Ты такого не увидишь –
 То, что было, скрыто тьмой.
 Ты на путь широкий выйдешь,
 Сын любимый мой!
 Попрою тебе я «Нану».
 Не забудь ее, родной...
 Встань навстречу солнцу рано,
 Сын любимый мой!
 Ты поймешь тревоги эти,
 Когда вырастешь большой...
 Жизнь за зло тебе ответит,
 Сын любимый мой!
 Ты пока в пеленках тесных –
 Будешь сильный и прямой
 И споешь сыночку песню,
 Сын любимый мой!

СОВЕТ

(В связи с татаро-армянской резней)

Боже, знаешь ли ты жалость?
 Это слыхано ли, чтобы
 Брату брат грозил кинжалом?
 Брату брат!.. И гибнут оба.

Злобный враг их, враг их общий
 Далеко – в стране иной.
 На него они не ропщут,
 Цепью скованы одной.

Если кружит волк у стада,
 Не грызутся псы без толка.
 Дружно псы на битву встанут –
 И они прогонят волка.

Человека ж страсти гложут,
 Человек ума лишен.

Он страстей сдержать не может,
И от буйства гибнет он.

Протяни же брату руку,
Прочь кинжалы, шашки, ружья!
Не глядите друг на друга
Как враги – живите дружно.

Счастья мир открыться сможет
Лишь в единстве крепком нам...
Как же можно ссоры множить
Иль стоять по сторонам?

Нам пора объединиться –
Станет тверже наше дело:
С угнетателями биться
Будем мужественно, смело.

РИММА МАРКОВА

Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премии журнала «Literarus» (Финляндия). Член Союза писателей России и Шведского ПЕН-клуба. Удостоена звания «Просветитель года» города Стокгольма. Живет в Швеции.

Нико ГОМЕЛАУРИ

Кто-то обидит, кто-то накажет.
Кто-то утешит, кто-то побьет.
Кто-то мне ссадину йодом намажет.
Кто-то считает, что я - идиот...
 Что я скажу? Чем я занят сейчас?
 «Кто-то» - лишь кто-то, и мне не указ.

– Не может время встать –
Ученый муж нудит.
Толпа ему под стать
– Не правда ли? – твердит.
 А Моцарт ноты разбирал устало.
Смутилось время и, смешавшись, встало.

С кем я в ад попаду, интересно узнать?
 Вместе с кем мне придется угли подметать?
 Там различных художников выстроят в ряд,
 беспощадно сорвут их атласный наряд.
 Вот тогда и начнется большая игра!
 Без цензуры, нарядов и прочих преград!
 Выпью огненный рог и как Бог запою.
 В эту ночь будет скучно живущим в раю...

Не осталось сердца, легких,
 Путь поэта не из легких...
 Не осталось мозга, почек,
 Нервов спутанный комочек
 Ничего не ощущает...
 Все равно пою, вещаю,
 Пробиваясь сквозь усталость.
 Что-то, все-таки, осталось...

Неустанно «второе я»
 догоняет, как ни кружу.
 То хваля его, то браня
 я невольно ему служу.

Как над падалью воронье,
 надо мною крылами бьет.
 Ведь не схожее, не мое.
 От чего же молва идет?

Наведет на меня беду,
 как бы я его ни просил.
 Никуда я не убегу -
 оглушает, лишает сил.

И не спрашивает, когда
 мои песни поет оно.
 Вместо «нет», отвечает «да».
 Там, где свет, говорит: «темно».

Кто же сможет ответить, кто
 (только годы проходят зря) ?
 Я ли первое есть «оно»

иль оно есть «второе я»?

Для чего я с Шекспиром борюсь почем зря,
 Если ты все равно не полюбишь меня?
 Что мне Чехов, коль ты на спектакль не придешь?
 Если ты далеко и другого ты ждешь?
 Был я Гамлет, а буду Тартюф, ну и что ж?
 Без тебя я старею, а ты не идешь.
 То я Фигаро, то Дон Жуан молодой.
 Только в чем я, скажи, виноват пред тобой?
 Что мне Сартр или Ибсен, иль кто-то другой,
 Коль милее тебе неизвестный герой?
 Мне приснилось: я – мавр, меня бросило в дрожь.
 Я тебя, Дездемону, терзаю за ложь.
 Я проснулся в поту, весь от страсти горя.
 Эти гении нынче достали меня.

Давид ГУЛУА

ВАГОН СНА

Я в вагоне сна, я в вагонном сне.
 Но куда ведет путь мой, не пойму.
 Я не знаю ту, что махала мне,
 по ковру прошла к сердцу моему.

Стук колес жесток, очень резок звук.
 Ветер рвется внутрь, теребит вихры.
 Тает ствол и стан, тает все вокруг.
 Там, где был, – туман. Здесь - лишь ветра хрип.

Ветер лезет внутрь ледяной рукой.
 По лицу прошел, оцарапал бровь.
 Так за душу взял, поиграл струной,
 Покачал стакан – сон поехал вновь.

Сигаретный дым пропитал вагон,
 Дышит прошлым все тесное купе.
 Зелень тех чинар, что бегут вдогон,
 собралась в смычок, чтобы звонче петь.

От блестящих рельс искры россыпью.

Поезд весь туман на клочки порвал.
Я уже давно твоих слез не пью,
Засосал вагон, словно в топь загнал.

Силуэты гор понакрыла ночь,
В изголовье лампы неровный ток.
я смежаю веки, я еду прочь
но сквозь дрему слышу ее упрек.

И сольются наши в одно уста,
уподобясь гнездам в густой листве.
И птенец рванется, слетит с куста –
это сердце рвется: быстрее, быстрее!

Кто-то хлопнул вдруг по моей спине,
Солнце бьет в глаза, не спросясь слепит.
Давний сон по новой приснился мне.
Не хочу так быстро расстаться с ним.

Проступает чье-то лицо в толпе,
Тормозит вагон, тормозит, шуршит...
Я не помню ту, что махала мне.
Соль с ее ресниц мне не осушить.

Затаил дыхание поезд тут.
Дым взметнулся вверх, над трубой торчит.
Не считает время секунд, минут.
Мой миндальный август молчит, горчит.
Я вернулся! Здравствуйте все, кто ждет!
Той, с перрона, отдал тоски билет.
Приходите все! Обернусь дождем
Ради вас, что ждали так много лет.

Вы меня признали? Я стал другим.
По лицу пролились морщин ручьи.
Я прошел сквозь Дантовы все круги.
Я утратил крылья, они ничьи.

На скамье перронной сажу опять.
Ее голос я узнаю во сне,
Только все никак не могу понять
Что она тогда говорила мне.

ВАЛЕНТИН НИКИТИН

Доктор философии. Академик РАЕН. Член Союза писателей России. Вице-президент Общества русско-грузинских культурных связей «Дзалиса». Главный редактор православного радио «Логос». Живет в Москве.

Колау НАДИРАДЗЕ

Отблески луны мерцают в вышине,
 Белым цветом вышиты в деревьях.
 Плачь в тиши, но в этой тишине
 Не жалею об умерших виденьях.
 Так глубоки эти небеса,
 Что хранят прощенье изначально,
 Будто богородицы слеза
 На главу склоненную упала...
 Дева-мать, сердце до краев
 Тихой преисполнено мольбою:
 Ниспошли и мертвым свой покров –
 Эту ночь, что вышита луною.

Илья ЧАВЧАВАДЗЕ**ДВЕ МОЛИТВЫ**

Я стою на коленях, Отец наш Небесный,
 Пред Тобой, не прося ни богатства, ни чести.
 Да пребудет без скверны молитва святая!
 Но хочу, чтоб, как небо, душа засияла!

Чтобы сердце к врагам запылало любовью,
 Даже если пронзят, обагрят его кровью;
 И я мог бы молиться, как на Небе рыдают:
 Ты прости их, Господь, что творят – то не знают.

Когда демон неверья, отрицанья, лукавства
 Даст душе ослабевшей чашу с ядом соблазна,
 Пощади меня, Боже, обойденного роком,

И не дай к этой чаше прильнуть ненароком.

Но коль мерой подобной испытать меня надо,-
И твое попущенье над кознями ада,
Да постигну Твой промысл, свою волю склоня,
И да сбудется воля святая Твоя!

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА

Поэт, прозаик, эссеист. Член Союза писателей и ПЕН-Центра России. Лауреат премий имени Бориса Пастернака, журнала «Знамя», «Anthologia», национальной премии «Поэт». Живет в Москве.

Бесик ХАРАНАУЛИ

КУКЛА-КАЛЕКА

(отрывок из поэмы)

Ну что такое жизнь сорокалетнего человека? Словно объявляет незримый экскурсовод: «Пейзаж резко меняется». Не обнаженным, а неприкрытым можно назвать его. Пора становления классиков, вперемежку с пустотой – солидность, неприступность, боящаяся разоблачений. Не взгляд, а выпытывание. Страх одиночества, навязчивая подозрительность, боязнь, чтобы какое-нибудь осязаемое безмолвие, сгустившаяся тишина в одной из комнат, пауза между стеной и шкафом, молчание между кустами, бессловесность, стиснутая кустами, текущее ночью улицу молчание обволокнется плотью и уставится вопрошающим взглядом: что ответить? Что ответить той бессловесности, которая, оказывается, всю жизнь наблюдала за нами?

Может быть, он должен был сдвинуть шкаф и стену к стене придвинуть впритык, вплотную? Заполнить каждую щель в полу, каждую пядь пространства? Люди, которых мы теперь почитаем за их достижения, всю жизнь, не подняв головы, трудились от ужаса перед этим.

Что такое жизнь сорокалетнего человека? На что он скажет: «Вот в знак того, что он выполнил, отвоевал, отбил, убежище себе отыскал и в глубокой нише может переждать все, что еще не выпадет на его долю. На что он скажет: «Вот!» - завершив восхождение, усаживаясь на вершине, уставший божественно, сам же себе удивляясь, расслабленный, с добродушной улыбкой? Он погладит рукой зеленую траву, и зеленый ток пробежит по жилам, омолаживая его каждым пульсирующим биением.

Что такое жизнь сорокалетнего человека? Он обходит последний круг молодости, а у финиша его никто не встречает с цветами. Ждут с упреками, ждут, предъявляя счета, помахивая векселями, будто бы досконально все о нем разузнали, что он за птица, на что способен, а он запаздывает к расплате.

Он все растягивает, все увеличивает круг беговой дорожки и на этом трагическом повороте дней неожиданно оборачивается, и – прошлое кидается за ним в погоню. Там – прекрасные девушки готовят себя к победам, на них – единственный слой одежды, - как деревенское масло покрывает единственным волокнистым листиком, так и на них – легкий слой тончайшей одежды, подчеркивающий линии тела. Там – неискушенная в трагедиях публика, флер, флирт, музыка – это и есть молодости последний виток, првая оболочка ада.

- Воспитание?.. Простите, я не совсем понял, вы это – о чем? Если вы обо мне, я не улавливаю в этом смысла, равно как и не чую отсюда запаха подснежника африканских джунглей.

«Воспитание... Мальчик воспитывался у лучших учителей. Его отец имел состояние, а мать была большая любительница поэзии и музыки. В их семье собирались на изящные вечера музыканты, художники, поэты, артисты...»

Зимою лошадь, склонившаяся над соломой, думает о холмах, умягченных люцерной.

О юность, юность! Неужели я мог ругать тебя, когда твоим главным делом была любовь?

Что же такое жизнь сорокалетнего человека? Дорого стоит мудрость, добываемая годами, но куда прекрасней быть глупым, бестолковым, но только шестнадцатилетним, когда любил ты...

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

Поэт, прозаик. Лауреат Государственной премии России, Пушкинской премии России, Царскосельской художественной премии, национальной премии «Поэт». Живет в Москве.

Резо АМАШУКЕЛИ

ПЕЛ РЕБЕНОК

Мальчик запел,
Тамаде не перечая, -
Робкий ребенок, покинутый папой.
Пел он тихонько под тосты и речи,
Точно птенец, одиночеством смятый.
Стол тяжелел в хрустале и крахмале
С винным пятном и салатной заплатой.
Ноты высокие к небу взлетали,
Пел нам ребенок, покинутый папой.
Мама его танцевала с другими
И раскаляла им лица и страсти.

Вытянув шею, словами чужими
 Мальчик поведал об этой напасти.
 Кончилась песня,
 И дождь беспощадный
 В памяти горькой слезою остался,
 Ну, а кутеж,
 Равнодушный и жадный,
 Все продолжался,
 Все продолжался.

Карло КАЛАДЗЕ

РОДНИК

Я стану землю рыхлить киркою
 Средь павших наземь стволов тяжелых.
 Здесь был родник, и я открою
 Забитый мхами покатый желоб.

Родник пробился. Меж черных комьев
 Бежит, стрекочет струя живая
 Я дом построю.
 Об этом доме
 Поет родник, благословляя.

Пусть мне помогут земля и небо,
 Мою лопату судьба направит.
 Она в какую упрется небыль,
 Какое слово родник добавит?

И прежде были здесь дом и люди,
 И старой извести в земле крупцы.
 И снова станет здесь дом, и будет
 Прохожий пить, вода струиться.

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

Поэт, прозаик, киносценарист. Член Союза писателей России и Русского ПЕН-центра. Лауреат премии им. Булата Окуджавы, Международной премии им. М.Ю. Лермонтова, Национальной премии «Музыкальное сердце театра», премии журнала «Арион». Живет в Москве.

Николоз БАРАТАШВИЛИ

МЕРАНИ

Ты лети стрелой, наугад, сквозь мрак, мой Мерани!
Черный ворон злой предвещает крах градом брани.
Улетай вперед, ускоряй полет обреченный,
кинь ветрам скорей ты всю страсть моей думы черной!

Рассеки ветра, разорви дожди, мчи над скалам и над кручей,
утоли мое нетерпение, время странствия сократи.
Мчись, крылатый мой, улетай-лети, спеши под лучом и под тучей.
Самого себя не жалея в пути, но и всадника не щади!

Пусть отчизны мне не видать вовек, пусть друзей своих потеряю,
пусть родных лишусь и любимую не увижу пусть никогда, -
там, где мрак ночной, там и дом родной, только звездам я доверяю:
лишь они одни знают, что со мной, им – и боль моя, и беда.

Стон души больной, вздох любви былой – все в безумный
бег прекрасный твой, да еще – в морской шум бездумный!
Улетай вперед, ускоряй полет обреченный,
кинь ветрам скорей ты всю страсть моей думы черной!

Пусть умру вдали от родной земли, средь родных могил пусть не лягу,
пусть любимая не обмоет прах, не обронит плач скорбный свой.
Ворон чернокрыл мне могилу рыл, не полям мой тлен, так – оврагу,
только дикий вихрь вокруг костей моих заведет в ночи свист и вой.

Вместо милых слез – лишь холодных рос на костях моих след печальный,
вместо слов родных – крик орлов степных, отпевающих мертвеца.
Мчись, Мерани мой, скорбный всадник твой мчит за грань судьбы изначальной,
говорю тебе, я не раб судьбе, и такой уж я – до конца.

Пусть в свой смертный срок буду одинок волей рока,
но его рука не раба – врага бьет жестоко!
Улетай вперед, ускоряй полет обреченный,
кинь ветрам скорей ты всю страсть моей думы черной.

Обречен ли я, - но душа моя дышит волею ненапрасной.
О, Мерани мой, твой смертельный путь вспомнит кто-нибудь, и тогда –
мой безвестный брат легче во сто крат повторит твой бег, бег опасный,
и сквозь мрак судьбы вдоль твоей тропы конь промчит его без труда.

Ты лети стрелой, наугад, сквозь мрак, мой Мерани!

Черный ворон злой предвещает крах градом брани.
 Улетай вперед, ускоряй полет обреченный,
 кинь ветрам скорей ты всю страсть моей думы черной!

Георгий ЛЕОНИДЗЕ

* * *

Ните Табидзе

От горьких слов, и вздетых рук, и скорбных фраз,
 И толп, за гробом шествующих тенью,
 Гроб Руставели распадался девять раз
 На медленной дороге к погребенью.

Я не дождусь вовек подобных похорон.
 Судьба певца! Что знаю я про это?
 Что знаю? Все! Любовь, восторг, и грусть, и стон,
 И власть, и одиночество поэта!

Поэт ли я, поэт ли твой отец?
 О нас ли наша Грузия мечтала?
 Не знаю... Знаю только: из сердец
 Лишь вместе с кровью песня вылетала.

Не верь, не верь, что Грузию мою,
 Воспламенить способны наши строки –
 Тогда гробы рассыплются в дороге,
 Пока нас погребут в родном краю!

Поверь в одно: уж это точно не вранье –
 богата ли поэзия? безмерно.
 Но нет вернее гончих у нее,
 Чем мы. Да и резвее нет, наверно.

И если стих, наш звонкий стих, в конце концов
 Не жжет и не горит, ну что же, дети, -
 Тогда и вы за нас – как за отцов! -
 И Грузия – как за сынов! - в ответе.

Гроб Руставели распадался девять раз,
 А наши будут целы и сохранны...
 Но рифмы твоего отца – как раны

В груди моих певучих долгих фраз...

Галактион ТАБИДЗЕ

* * *

Под сенью ресниц, опущенных ниц, — опустошенный взгляд.
Взлетит он с лица, лишен до конца посулов, наград, угроз, —
И божий наш свет застынет в ответ, и рай замолчит, и ад.
И слово и жест вдали и окрест забьются в сетях волос.

И жизнь моя вдруг, как брошенный труп, кинет немой укор,
Из прошлого дня жестоко кляня убийцы бесстрашный лик,
Не в силах и впредь преодолеть этот холодный взор,
Не в силах порвать дрожащую прядь, чтоб вырваться хоть на миг.

И сны — что кольцо: все то же лицо, в жестокой своей волшбе.
Мучительный лик, и горек, и дик. И, погруженный в ад,
В раба превратясь, пойму, кто здесь князь и мне, и моей судьбе:
Под сенью ресниц, опущенных ниц, опустошенный взгляд

Тициан ТАБИДЗЕ

РАСТЯНУТЫЙ МАДРИГАЛ

М[арте] М[ачабели]

Ты вся отточена, как сабля Мачабели.
Ты – выше виселицы! Взор твой – это взор
Мадонны в час, когда от белой колыбели
Падет на Картли он, и светел, и нескор.
То мне река Лиахва снится... То не спится...
А лишь засну: и бой! и мчится атабек!
Плывут тела татар сраженных. И Аспиндза
В Куру засмотрится отныне и навек...
Опять в грузинских погребах играют вина,
И рыцарь к рыцарю спешит, и к рогу – рог.
бессмертно солнце наше! Нет еще грузина,
Чтоб перед смертью он забыть об этом мог.
Не быть мне мастером, стыдливым и невинным, -
Пусть он царицын лик во фреске сохранят, -
Но надо стыд забыть, чтобы пером гусиным
Махать настойчиво, когда клинок звенит.

Вот сердце! В Картли ты – последняя царица!
 Возьми себе – да из него не пожалей
 Корону вырезать. Пусть побледнеют лица
 Других поэтов от гиперболы моей.

Паоло ЯШВИЛИ

ПАВЛИНЫ В ГОРОДЕ

Жара над городом. За мыслью мысль несется –
 пропасть, исчезнуть в солнечных облаках.
 И ядовитых змей своих распустит солнце,
 и алой кровью встанет в уличных канавах.
 Жара над городом. Спешили колесницы,
 за все излишества июль кляня жестоко.
 Лишь кошки, радостно ревя на черепице,
 всю страсть свою приберегли для солнцепека.
 был воздух синим – как поток стеклянной пыли, -
 и плыли всплески в нем, и вместе с ними плыли
 гудки и люди – в ярких бликах непривычных,
 и копоть черная из труб фабричных...
 Дрожит, как огненный язык, церковный купол.
 больные псы на душных улицах – как трупы.
 На крышах кошки разноцветные взывают.
 И кони там, внизу, трепещут и срывают
 коляски с мест. Пожар – на праздничных знаменах,
 на круглых зонтиках, и красных и зеленых.
 В стекле веранд – то изумруды, то рубины,
 и, словно бархат, тень – темны ее глубины...
 Все злей дракон кровавый. Воздух обретает
 черты идущего к пределу воспаления.
 И вот – свершилось: солнца пьяное веленье
 павлинов красных в синем воздухе рождает!
 Их появление – красный вихрь. И были дики
 их раскаленные, разломанные крики.
 На крыльях медь кипела. будто их метало
 из тигля, из бурлящего металла.
 Их обожженные крыла не находили
 пристанищ. Их тела – в огне, в крови ли, -
 но так и отливали ярко-алым,
 как вспоротые солнечным кинжалом.
 О! Обезумевшие в солнечной печали
 большие птицы с мрачными глазами

то голубое мясо воздуха терзали –
 глядели грозно, то пугались сами.
 И в душном городе безумье воцарилось,
 и ветвь срывалась и, упав, бессильно билась.
 Дома пылали, миг, другой – не устоять им.
 Метались люди с плачем и проклятьем.
 Трамваи путались, сходя с трамвайных линий,
 и крик стоял – немолчный крик павлиний.
 И кошки вдруг срывались вниз с крутого ската
 И, как слепые, мчались лошади куда-то
 и повисали на столбах с разбитой грудью,
 и ржали в воздухе, и рвали в клочья сбрую.
 Сверкала кровь на мостовых и на панели.
 И красный ветер выл – колокола звенели.
 был глух их звон, И страх согнал прохожих в сети.
 Исчезло все. Лишь с мертвым мертвую и встретишь.
 И пар горячий, цвета слез, всходил упруго.
 И красным сном забылся город. И – ни звука.
 Лишь купола с крестами светят. И на сучьях,
 как окровавленные мокрые тряпицы,
 измучив город, до смерти намучась,
 сидят устало солнечные птицы.

ВЛАДИМИР САРИШВИЛИ

Поэт, переводчик, журналист. Член Союза писателей Грузии. Президент Ассоциации русскоязычных литераторов Грузии «Новый современник». Лауреат Международного конкурса Фонда Б.Н. Ельцина в номинации «Мэтр», литературной премии имени Ю.Долгорукого в номинации «Поэзия». Живет в Тбилиси.

Вахтанг ГЛОНТИ

В СТАРОЙ БАНЕ (Отрывок)

"Что нужно вору – ночка тёмная!"
 Я знаю вора – плевать он хотел на поговорки,
 Как сплёвывал на истёртый собственными шагами
 Холодный пол тюремной камеры после уборки.
 Он выходил на дело утром,
 Когда хозяева второпях убегали на работу,
 Он щёлкал отмычкой и шарил по чужим комодам...

Вот и нынче утро настало раннее,
И под сводами старой бани
Собралась молодёжь в ожидании.
На лавочке гогочет компания –
Двое парней с девчонкой,
Предвкушающие душ втроём.
В седьмом уже одеваются - подождём...
День этот в календаре
Отмечен чёрным, как и все будни,
Скучные, серые, словно студни...
Отец одного из парней
От зари до зари вкалывает у станка,
Сокрушаясь о своём непутёвом отпрыске.
Отец другого сына
От зари до зари стоит, прислонившись спиной
К закопчённой стене пивной.
А папа девчонки давно уж на кладбище,
И он из троих, несомненно, счастливейший,
Ибо дочь не увидит раздетою в бане
В обществе спутников, утречком ранним...
Она кажется даже развязней парней
В ожидании секса в парной...
Или это всего лишь вызов,
Перчатка, которую любит бросать юность?
И как несвежи лица юношей с прошлым,
Грязным и ушлым.
Немало выпито ими ядовитого вина вселенского.
А в какой они эйфории великой
Пропивали добычу за столами, богато накрытыми -
С пальбою, визжащими девками, песнями, криками...
Теперь же – головушки повесили,
Изрыгают сплошную матерщину
И в морщинах –
Жёсткий налёт пережитого,
На грани бытия и небытия,
И нет у них будущего, всё потонуло в былом,
Стали мученья их верой, привычной, как лошади - седло.
И спросить у них нечего –
Разве неясно, о чём они думают, эти парни и юная женщина?
"Вот, сограждане от нас шарахаются,
Как папаши степенные от приبلудных детишек,
И поносят нас, изощряются,
Чтобы заморить собственных грехов увесистый излишек.

А разве каждое дерево плод даёт?
Разве всё, что является на свет – живёт?
И напрасно вы нам талдычите, чтобы взяли за ум,
Мы себе сами ум, пусть он и похож на самум...
А род наш не преминут умножить братья –
Родные, двоюродные, бросаясь в супружеские объятия....
Мы постигли закон обращения истины в ложь,
Проверенный несчётное число раз,
Смотрите, вот наши запястья, израненные наручниками, ну и что ж?
А это – наши глаза, уставшие от верениц конвоя, ну и что ж?
Всё равно весь отпущенный век будем мы попирасть ваш закон,
Нам ваш закон – не указ!
Всё равно вы в долгу, вы у нас, да, у нас вы в долгу неоплатном!
Хоть невозвратном...
Эй, вы, счастливички, паркетные мальчики, не знавшие уличных кулаков.
Вы, девочки, с которыми няни гуляли по паркам, обучая премудростям иностранных языков,
Мы всё-таки не клянём судьбу - это у вас, счастливичков, принято.
Хоть с детства нас приручали сильные мира сего и богатые –
Кнутом по спине и не стонать, проклятые!
А матерщина наша – это ведь большое искусство!
От сердца исходит оно, и сколько огня в нём и чувства,
В нём ласка, в нём дух задушевный и преданный,
А вы о таком и не ведали"...
Улыбаются пресно,
Словно после дачи показаний в суде.
И мыслям их не просторно, и словам их тесно.
Всё это встречалось и раньше,
Но где,
В какие эпохи, справедливые или облыжные,
Так бывала женщина унижена?..
Благословенна Всевышним на деторождение,
Жизни земной явление и продолжение...
Неужели это она – гогочет, хлопая себя по ляжкам,
Заходясь в этом хохоте, смешанном с хриплым кашлем.
И эти звуки напоминают мне
Песенку, услышанную на стороне:
"Ты, нарушившая клятву,
Слово взявшая обратно,
Моего боялась смеха
И смеялась беспощадно
Надо мной".
Ещё я вспоминаю

Дальний лес,
Куда водил меня когда-то дед.
В ту пору волк
В деревню зачастил;
Бежали псы немного впереди.
И вдруг
Услышали мы оголтелый лай –
То меж собак их дикий побратим
В клубке катался...
И слизь текла, похожая на уксус,
С его клыков.
Но дед собак визжащих разогнал
И на плечо ружьё своё повесил.
И мне сказал тогда он так:
"Запомни!
Прими как завещанье мой наказ:
Смерть лишь тогда приходит к старикам,
Когда слова их забывают внуки.
Так знай – пусть целый мир на сатану
Устроит всеохватную облаву,
Того, кто в одиночестве остался,
Ты должен пожалеть и поддержать,
Хоть дьяволу не нужно это вовсе,
Как стаду, где его бушует злоба...
Знай, внук, - кого баюкали слова
Чудесных колыбельных песен наших,
Тот должен дом свой в крепость превратить
И оградить от наглых посягательств"...
Охотники, так отпустите ж волка!
Страдавший знает цену милосердью,
А волк несчастен, потому что прав,
Прав, как Адамов сын перед грехом
Единственным – и всей голодной жизнью
Волк платит дань за этот тяжкий грех.
И грешник он, и жертва прегрешенья...
Смеётся девочка, глядясь в осколок зеркала
В пробоине стены, что время исковеркало...
А рядом с тем осколком - как попало
Пришлёпана обложка из журнала,
Где мачо голливудский обнимает
Мисс Мира или кто ещё бывает?
А наша тётя Соня – так соседей
Гласит молва – тому назад десятилетия

Могла бы фору дать кривляке этой...
 Потом прозвали тётю Соню "Эстафетой"
 В квартале нашем – до войны ещё с фашистами –
 Ох, лапали её руками чистыми
 По баням – не за совесть, не за страх...
 Теперь вот прибирает в номерах.
 Состарилась с супругом, вороватым Арменаком – тёрщиком,
 И по совместительству клиентам пива-водки-чая подносчиком...
 Тёрщик с банщицей еле тащатся...

Маквала ГОНАШВИЛИ

МОНОЛОГ БОГОМАТЕРИ

Зачем меня, смеющуюся, кисть
 Запечатлела в звонком майском полдне,
 Вам невдомек, что мы едва спаслись
 От воинов, по милости Господней...

Вам невдомек, как исстрадалась я,
 И, ужасом объятая, воочью
 Узрела призрак Ирода-царя
 В своем окне беззвездной зимней ночью...

Был сон – блаженством, сын – в грядущем был,
 Но я уже оплакивала чадо,
 Ему Голгофу Бог-отец сулил,
 И – веру, во спасенье душ от ада.

И все сбылось, и крестный путь свершен,
 Мне было б легче смерть принять с Тобою,
 Народу – Божий сын, Спаситель Он,
 А матери – дитя ее родное...

Я бремя всех грехов людских взяла
 На рамена. Я с Ним распята вместе.
 Мерз ландыш в небесах и ждал тепла,
 Слеза была ему благою вестью.

Луч освещает тропку. Тонок он,
 И крест, и жертва – Божий сын распятый...
 От плача моего деревьев стон, -
 Не от ветров, не от грозы раскатов.

И если время близится бедой,
 Да будет вам в час горький, человеки,
 Заступниками – Сын, страдалец мой,
 И Бог-Отец, и Дух Святой – вовеки...

КАМЕННЫЕ ВРАТА

Погасло солнце.
 К каменным вратам
 Прильнула тень,
 В лучах закатных млея.
 Тебе, Господь,
 Несу я в сердце дар,
 Как рукописные
 Четыи-миней.

И мнится –
 Здесь стояла я
 Допрежь,
 И голос был –
 Как предостереженье.
 Чей – неизвестно.
 Спутались слова,
 Забыта боль,
 Осталось утешенье.

"Господь мой милосердный,
 Отопри
 Врата безмолвья!" -
 Криком изошла я,
 Истерла ногти в кровь,
 Но недвижим
 И хладен камень,
 Жалости не зная.

Быть может,
 Зов мой тих,
 А может быть -
 Там, за вратами -
 Пустота глухая...
 Или Господь
 Ответа не дает,

Творение свое
Не узнавая...

Стою...
Былого совершенства след
Исчез
Под водопадами столетий...
След, что Твоя
Оставила рука
Давно уж стерт,
А Солнце снова светит...

И я желаю
К Солнцу вознестись,
Чтобы увидеть
В Царствии Небесном
Господень лик.
Что толку тосковать,
За жизнь цепляясь
В этом мире тесном...

Хочу забыть
Всю суетность его,
И всю тщету его,
И хлопотливость...
Хочу войти,
Но заперты врата,
О, Боже,
Отвори мне,
Сделай милость!

КУКОЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Где таится кукловод,
Тот, что водит хоровод?
Дуболобых человечков
То пригнет, то вознесет...

Размыкает губы им.
"Надо ж! - сами говорим", -
Думают они с апломбом,
И течет по щечкам грим.

Слепы, глухи, немые вы,
В доску – с ног до головы,
Эх, убогие созданья
И несчастные, увы!

С вами, тысяча чертей,
Мерзну я, как воробей,
Что на юг не улетает,
Где теплее и сытней.

Хоть из дерева, а злость
Бьет народу в плоть и в кость,
Как же вам заразу эту
Понасеять удалось?

Вы на пляжах в неглиже,
Ваши дети в Париже',
Из какой вы древесины -
И не помните уже.

Вы забыли о корнях,
О родных своих краях,
Даже если крикнешь: «Мама!» -
Разнесете в пух и прах.

Горбуны и шатуны,
Вы тавро клеймены,
На чужбине вам, грузинам,
Тридцать евро вручены.

Мне ж мила земля моя,
Неужели буду я
Тосковать по государству
Клоунады и вранья?!

Шота ИАТАШВИЛИ

ДЕНЬГИ

Посвящается мировому финансовому кризису

Денежки мои красивые,
Как и роза, небо, дерево.

Мона Лиза –
Не кобыла сивая.
Но и денежки мои красивые.
Я в кармане вас пощупаю,
Малышей моих расписанных,
Показать кому надумаю –
Вдену как тюльпан в петлицу их.

Ох вы, деньги, мои, денежки...
Вы цветное представление
С полунищей декорацией,
Шкуры пустоты сверкание.

Обернусь парчой купюровой,
И войду я в мир, где дерево,
Роза, небо с Моной Лизою...

Вот уже
Вхожу.
Мне билет, и вам билет –
Приглашаю.

О, как может быть красива жизнь,
Если ты на гребне красивой денежной волны.

Старею. Старею. Старею.
Все чаще о том размышляю,
Не выставить ли мои деньги
В музей, под стекло – и навечно.

Пусть люди придут, насладятся
Красавцев-банкнот лицезреньем.

В волнении будут стоять они долго,
Потом по домам разойдутся в раздумьях:
Какая удача –
Красивая жизнь,
Красивый дом,
Красивый стих...

Они подумают –
Какая удача,
Когда деньги твои так же красивы,

Как беременная супруга твоя...

Если бы в возрасте тридцати двух лет,
Именно в эту минуту узнал я, что все мы смертны,
Как изменились бы все, уж давно примелькавшиеся
Предметы и образы дома, улицы, города:
наручные часы,
тарелки,
афиши,
фотопортреты покойных предков,
детские манежи,
обувь
и проезжающие автомобили.

Если бы нынче, в возрасте тридцати двух лет,
С редющей шевелюрой и ослабленными почками
Я впервые услышал
Слово «смерть» -
Мать, сестра, жена, ребенок,
люди на улице,
друзья, знакомые, сотрудники, -
Как бы они изменились в моих глазах –
И как бы смог я их взгляды, манеры и речь
Оторвать, отрезать от сердца.

Пережил бы?
Не пережил?

Если бы нынче, в возрасте тридцати двух лет,
Именно в эту минуту
Кто-нибудь впервые сказал мне,
Что все мы должны умереть –
раньше иль позже,
Что бы творилось тогда в моей душе,
В глазах,
В кончиках пальцев...
Как бы я вынес мгновение разлуки
С письменным верным столом?
Или с каким наслаждением я бы шмалил сигарету,
И становился под душа горячие струи
С какою улыбкою дочка ручонки зачмокал

Или дни до зарплаты считал и подсчитывал мелочь в кармане,
 Как бы я танцевал,
 Как бы я целовался
 Или как,
 Знать бы мне, знать бы мне, знать бы,
 Как бы голову вскинул я,
 Глядя на солнце в зените...

Звиад РАТИАНИ

ОТЦЫ

И
 Опоздай почтальон по утрам с пачкой свежих газет
 Хоть на жалкие двадцать минут – как они возмущались!
 Их сердца укрывались под кожей футбольных мячей
 В грандиозные дни, когда форварды эти сердца
 Загоняли в чужие ворота. И прыгали наши отцы,
 Обнимались.
 А зимой, выходя на работу, они во дворе
 В ожидании милости окоченевших моторов,
 Первой штучкою «Космоса» возле кряхтящих машин
 Наслаждались.
 А с приходом весны укрепляли на крышах своих
 «Жигулей», «Москвичей», «Запорожцев» багажные сетки
 И спешили укрыть дорогих своих жён и детей
 От столицы, где улицы
 Испепелялись.
 И звонили друзья, и к себе приглашали отцов,
 И звонили отцы, и к себе приглашали друзей,
 И с достоинством царским застольями руководя,
 Дни считали в уме до зарплаты.
 И в пучины запутанных дел погружались они
 И распутать пытались.
 И заботливо руки на плечики наши кладя,
 Они строили, строили, строили планы,
 Но отравлена временем плоть их недавних химер
 И достался им пепел утраты.

Бедные отцы!

Вам хватило упрямства и дерзости не измениться,
 Когда всё разломалось и рухнуло в тартарары.

Вы в чадящих автобусах катите вновь по столице –
 Номера поменялись. Названия улиц, дворы,
 Вы ж по-прежнему сквозь неумытые стёкла глядите,
 И, толкаясь на выходе, платите вы за проезд.
 Новый цвет у монеток. На службе вы старой сидите.
 И в хозяева жизни из ваших никто не пролез.

Бедные отцы!

Вы здороваетесь с сослуживцами и приступаете к убийству времени.
 И, отрубив ему голову, убеждаетесь, что выросло две.
 Время превратилось в дракона с другим именем
 И с другими идеями в отрубленной голове.
 Только вы, ещё более прежние, чем были раньше,
 И той же походкой – руки в карманах – входите в родные стены.
 Так прочны оказались свитера, и брюки, и обувь ваша,
 Словно их носили не люди, а манекены.
 К разным домам, разными шагами
 Подходят наши отцы.
 Разные по характерам,
 Только взгляд у них стал одинаков,
 Как у животных разных пород, семейств размеров и отрядов.
 Попавших в неволю, – взгляд одинаков –
 Скошен.
 Всякий, кто в клетку брошен,
 Смотрит, косясь,-
 Кролик и лев, попугай и слон,
 Пока не привыкнут, думают – это сон.
 Скоро исчезнет он.
 Так и наши отцы всё объясняют логикой сна.
 Конечно, она странна,
 Но не вечно её злобствование.
 Проснёмся – настанет бодрствование.

Бедные отцы!

Ведь сну безразлично – собрался ты только вздремнуть,
 Или надеешься к самому дну поднырнуть.
 Сон продолжается, если он начат.
 Главная его задача –
 Чтобы ты лежал в темноте.
 Всё остальное ничего не значит.
 Ему наплевать, что будильник стучит в темноте,

И лежат отцы лицом к стене в темноте,
И не смеют думать о прошлом,
Залистанном в ожидании сна до дыр,
Так, что ничего не разобрать.
- Но надо, но надо, - думают отцы, ворочаясь с боку на бок, -
Хоть что-то, хоть что-то, не наше уже,
Оставить, оставить, оставить в душе
Для них, для потомков – дошло бы.
Но будущего
Не видно отцам, как и прошлого.
Хоть что-то, хоть что-то, не наше уже...
Лежат отцы в темноте,
А у стен-ужей не видать ушей,
Времена миновали те.
А у стен уже не видать ушей,
Хоть своих ругай, хоть чужих пашей,
Так их, крой на чём свет стоит!
Но молчат оне – и лицом к стене,
А будильник сту-чит-чат-чит-чат-чит...
И не смеют, не в силах отцы бросить в прошлое память ожившую,
Когда чаянья их, и дела, и заботы
Двигались без заминки по часовой стрелке – чат-чит-чат-чит,
Когда после трудного дня, с работы,
Как декорации отслужившие,
Они направлялись за кулисы, к своим кроватям
И засыпали (согласно режиму).
Память, память, память,
Не надо, не напрягай пружины!
Ведь сейчас всё кувырком,
Всё настолько переиначилось,
Что на самоиронию память насобачилась.
Инфляция времени и денег съехались в одной точке,
Как две параллельные прямые или две катящиеся бочки.
Но это ещё цветочки.
Страшнее всего, что Отечество попало в такой бурелом,
Что переносный смысл само слово «Отечество» приобрело.
Когда часть населения, поумнев сомнительно,
Приумножила число бесспорно умалишённых,
Когда на место именительного влез бестворительно-обвинительный,
А на место родительного – оглашённый.
А прошлое окончательно сформировалось как шестое чувство времени,
Без седла, без стремени,

Снова смотрим на наших отцов, у которых хватило упрямства и дерзости не измениться,

И наши упрёки безропотно, с грустью принять.

А мы им кричали: «Должны были блага народного ради лбами о стены биться,

И о том, что душат свободу, в цветущем саду вопиять,

И драить в храмах полы,

А в свободное время основам здорового секса нас обучать!».

И когда сорок тысяч гадостей мы им наговорили,

Почему-то они недостойным сочли отвечать.

А теперь, когда всё испарилось – и тот почтальон,

Что опаздывал утром, и форвард, и клуб, и противник,

А от проданных «тачек» остались запчасти на лом,

Да багажные сетки со ржавым оттенком противным,

Когда в космос с прилашков отправился «Космос» (табак),

Когда верных друзей рассовала судьба кое-как

По каким-то далёким щелям, неуютным берлогам,

Как вы угнетены, неповинные наши отцы,

Как вас много!

Это вам – приговор за отцовство, за то, что лишь нам

Вы остались отцами – не скважинам чёрного злата.

Не экранам, не банкам, не танкам, не прочим делам,

И не славы искали, не прессы.

Вы жили, как надо!

Жили в тихих домах, в наших тихих домах небогато,

Бедные отцы!

II

Живёт надежда, словно опрокинувшийся жук,

Которому не дано понять, что он опрокинут.

Не спрашивая,

Что к чему, почему это вдруг,

Он бессмысленно дёргает лапками, а дни

Сменяют друг друга, как страницы тетради для раскрашивания.

И наши отцы

В квартирах, на улице, в транспорте,

Как малыши,

Упрямо, без усталости ждут –

Вдруг да покажутся

Закатившиеся куда-то

Цветные карандаши.

Джансуг ЧАРКВИАНИ

УХОД

Мы приголубить не смогли
 Цветов, по осени желтеющих.
 Родная! Старость на порог
 Войдет оскалившись, ощерившись.
 И заскулит нам песнь свою,
 Давно осипшая, согбенная,
 О том, что близится к концу
 Стезя забот, дорога брренная.
 Свеча поддержит нас в пути.
 Холм одолели. Час прощания...
 Мне за гряды, мне – в лучший мир,
 Тебе – недолгие стенания.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

С горы Масличной я бреду назад,
 У входа в храм внимаю гласу свыше:
 Нельзя молчать. Пусть мертвые молчат.
 А я скажу. О, Господи, Ты слышишь?
 Лишь истина мной правила в пути,
 Тебе служил и ближнему бессрочно,
 Что накопил – всем сразу по горсти:
 Снов, миражей, цветной расшитых строчкой.
 Браслеты золотые и теперь
 Мне кажутся стальными обручами,
 Впитали соль дары моих потерь,
 И чаны полны мшистыми камнями.
 Яд ненависти, боже, сеют в нас.
 Взлохмачены, увы, знамена наши,
 Уходит жизнь, а мы стоим, склонясь,
 До дна испивши желчь из горькой чаши.
 С горы Масличной я бреду назад,
 У входа в храм внимаю гласу свыше.
 Нельзя молчать. Пусть мертвые молчат.
 А я скажу. О, Господи, Ты слышишь?

НОВЫЙ ГОД

Все в дар тебе – пиалы с медом,
 Вино, приятное устам,

И хлеб, добытый честным потом,
 Всем яствам яство – плоть Христа.
 Что Бог послал – единым духом
 На счастье выпьем и споем,
 Звенят бокалы. Все «под мухой»
 В моем дому, в дому твоём.
 Снег сыплет, лебединой стайей
 Кружат снежинки под окном.
 О Боже! Нас от зла избави,
 Да минет горе каждый дом!

НАТАЛИЯ СОКОЛОВСКАЯ

Прозаик, поэт, переводчик. десять лет жила в Грузии, работала в издательстве «Мерани». Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Член творческого союза «Мастера литературного перевода». Член Международного ПЕН-клуба. Живет в Санкт-Петербурге.

Тициан ТАБИДЗЕ

МНЕ ТОЛЬКО СЛЕЗЫ СТАЛИ УТЕШЕНИЕМ

1
 Мир, возведенный в муке и тоске,
 Непрочен, как песчаный дом у моря.
 Я рад бы строить замки на песке,
 Удерживает лишь соседство горя.
 Всему положен на земле предел.
 Вот и мечта, как бабочка, сгорела.
 Мне помнится, я счастья хотел...
 Но счастье меня не захотело.

2
 Я видел – словно бесконечный сад,
 Страна моя свое встречала лето.
 Пренебрежением своих же чад
 Она была наказана за это.
 И вот над ней сгустились холода.
 И в белый траур облачились горы.
 В Риони ропщет подо льдом вода:
 Но кто из нас поймет ее укоры.

3

Любовь моя! Ведь ты была со мной!
 С тех самых пор, как счет веду лишеньям,
 Уже утраты не страшусь иной:
 Мне только слезы стали утешеньем.
 Я погружаюсь в них, как в водопад.
 Я забываюсь в этой жгучей пытке.
 Судьба моя, благодарю, я рад:
 Ты даже муки даришь мне в избытке.

ОРПИРИ

Да где ж они, все эти двадцать лет?..
 Опять лежу ребенком на подворье.
 Еще своих не оставляли мет
 На лбу моем ни радости, ни горе.
 В озера опускается закат.
 Как Саваоф, застыла Накерала.
 И вид окрестностей замысловат:
 В нем узнает ошеломленный взгляд
 Тамары достопамятный наряд:
 Над этим платьем десять лет подряд
 Сто мастериц голов не подымало.

Поэзия, втяни меня, втяни
 В могучее свое коловращенье.
 ...Как я люблю глаза открыть в тени,
 Как женственно листвы прикосновенье.

Меня терзает неба высота!
 Холодный блеск светил изводит зренье!
 Стихи со мной лукавят неспроста
 И вызывают вновь сердцебиенье.

Чем безыскусней скажешь, тем скорей
 Твои слова другим придут на помощь.
 ...И яблоневой белизной своей
 О грудь мою уже разбилась полночь.
 В разводах небо. Ни души на свете.
 Под утро непременно будет ветер.

НЕ УДИВЛЯЙСЯ

Не удивляйся, если вдруг услышишь,
 Что Тициан молчит уже давно.
 Я раб мечты. Когда мечтою дышишь,
 Все прочее забыть не мудрено.

Сегодня я не стану лицемерить:
 Мне нравился когда-то дадаизм.
 Терзался я. И можешь мне поверить,
 Что в этом раздвоенье был трагизм.

Как эшафот – Халдея... Наважденье!
 Плач неба надо мною не затих.
 Невозбранимы сердцу заблужденья,
 И я поддался одному из них.

Вихрь пролетел у нас над головами.
 Я только нынче начинаю жить.
 Нельзя огонь пересказать словами,
 Как пригоршнею море осушить.

О, детский мир былых стихотворений:
 Где истина, где фарс – не разобрать...
 Под натиском внезапных откровений
 Я начинаю новую тетрадь!

СОНЕТ ПОЭТА

Все кончится. Всему придет конец.
 И не останется на свете очевидца,
 Который описал бы наши лица
 В тот час, когда срывали с нас венец
 Любви, что не смогла осуществиться.
 Кто станет вспоминать, как жили мы?
 Как мы любили — вспомнят ли об этом!
 Но для того, чтоб вырвать нас у тьмы,
 Воображение мучает поэтов.
 Надгробьем нашим станет нам Сонет.
 Он воскресит и озарит слезами
 Все, что для вас давно сошло на нет,
 Но животрепетало между нами.
 А под конец попросит он Творца —

В бездушных буднях и бессрочных битвах
Поэтов беззащитные сердца
Не обходить в живых Своих молитвах.

Джансуг ЧАРКВИАНИ

МОИ ДРУЗЬЯ

Гугули Георгადзе

Сегодня в Ваке,
проходя меж могил,
цветами дрожащими благословил
одну неприметную с виду плиту.
Цветы я оставил. И дальше иду.
Иду в Дидубе, где такие же плиты
слезами облиты, дождями прибиты.
Листвою опавшею их замело...
Потом я отправился в Сабуртало.
Темнело. Я двинулся мимо Багеби
на Цхнети. Дорога,
 мерцавшая в небе,
вилась и манила меня, как стезя.
...По ней от меня уходили друзья.

Печали звон сторожевой.
 Душа разорена и смята.
 За помутневшею рекой
 звезда мерцает виновато.
 Мне вспомнился высокий дом,
 где жизнь поспешная летала.
 Все умерли давно. Кругом –
 прошедшее, как вздох обвала.
 Моя измученная плоть
 омыта им, как бы волною.
 Всего лиши меня, Господь,
 но боль мою оставь со мною.

ВРЕМЯ

И мерцает в ореоле крыл
Время – Михаил и Гавриил,
Две меня карающие длани.
Я хотел бы чистым быть пред вами.
Вы меня воздвигли из земли,
обрекли на радости и муки,
сделали со мною, что смогли,
и опять земле отдали в руки.
Время – это бремя всех страстей,
тех, что на роду претерпит каждый,
мучимый сомнением и жаждой,
смертью близких, черствостью детей.
И приходит время умирать.
И приходит – восставать из пепла.
Сколько зрячих было, да ослепло.
И немых, что начали орать.
Тот бежит. Тот сдерживает прыть.
Под луною ничего не ново.
Я сказать осмелюсь: Время – Слово,
должное произнесенным быть.
Буду жить, покуда хватит сил.
Буду жить, пока стихи со мною,
и мерцает за моей спиной
Время – Михаил и Гавриил.

ГЛУХАРЬ

И
Мы в Сибири.
Что верно, то верно.
В дикий холод врезаемся мы.
Бесконечно простерлось, безмерно
серебристое тело зимы.
Напеваем мотивчик известный.
И отчаянье нас не берет.
Мы впечатаны в холод отвесный
и уже превращаемся в лед.
Отнимаются руки и ноги.
Примерзает к подошве стопа.
Вдруг заметил: у края дороги
собралась небольшая толпа.
Молодые веселые лица.

Голоса: «Продаем! Продаем!»
 И увидел я чучело птицы.
 Эта птица звалась глухарем.

2

Это тихая птица лесная.
 Оглушенный любовью глухарь.
 Одиночества нота сквозная.
 И тайги потаенный словарь.
 Продается заглохшее горло.
 За тридцатку берите с собой,
 увозите в задымленный город
 этих перьев цветных разнобой.
 Эта птица окраской и пеньем
 украшала лесной окоем.
 Но убили ее тем не меньше.
 Эта птица звалась глухарем.
 От любви прорезается голос.
 И любовь, словно боль, не стерпя,
 ты поешь на проталинах голых.
 И тогда убивают тебя.
 Ничего я другого не слышу,
 кроме ноты, звучащей во мне.
 А она все сильнее, все выше.
 Я сейчас беззащитен вдвойне.
 Над страной разносится пенье.
 Это музыка, а не броня.
 О, хотя бы в момент откровенья
 не убий ни его, ни меня.

Отар ЧИЛАДЗЕ

* * *

Листья за ночь усыпали двор,
 словно сдернули вниз покрывало.
 Неожиданно и небывало
 перед нами раскрылся простор.
 Даль проснуться никак не могла.
 Мгла, как пальцы слепого, дрожала...

Ты уже расправляла крыла...
Что тебя на земле удержало?

* * *

Прощай, прощай... Я больше не хочу
ни сладости, ни горечи. Довольно!
Пускай другим склоняется к плечу
лицо луны и ветер сердобольный.
Я за собою прежним дверь закрыл.
Грядущее предстало в свете строгом.
А все, что было, все, чем прежде был,
я, как собаку, бросил за порогом.

* * *

Около речки, в маленькой роще,
с ветки бесшумно лист оборвался,
лист оборвался с ветки бесшумно
около речки, в маленькой роще.
Не было ветра, не было ливня,
что же заставило лист оборваться,
что же ему оборваться велело,
не было ветра, не было ливня.
Что же... Да просто дни его вышли
в маленькой роще, около речки...
В маленькой роще, около речки...
В маленькой роще, около речки...

* * *

Женщина около моря лежала.
След от нее протянулся к прибою.
Даль понимающе все отражала.
Ссорились чайки между собою.
Бесцеремонно глазели матросы,
пьющие возле пустынного пирса.
Гладь принимала цвет купороса.
Города гаснувший шум доносился.
Солнце садилось в горячем тумане.
Город, пластавшийся у плоскогорья,
был разговорами одурманен,

запахом рыбы, камфары, моря.
 Молча сидели матросы и пили.
 Но подступала смутно тревога:
 след протянулся от женщины – или
 это тянулась в небо дорога,
 в небо, куда, отряхнувшись от тела,
 души уходят уже без возврата.
 В небо пока никому не хотелось...
 Только и это случится когда-то.
 Так вот лежала полоскою света.
 Каждый себе ее взглядом присвоил.
 Длился закат воспаленного цвета
 и безотчетно всех беспокоил.
 Солнце садилось в горячем тумане.
 Город, пластавшийся у плоскогорья,
 был разговорами одурманен,
 запахом рыбы, камфары, моря.

ВСТРЕЧА

Блестят зимы приподнятые плечи.
 Пальто, как тень, валяется у двери.
 Он говорит – как будто это лечит.
 Он говорит. Она молчит. И верит.

Она глядит с улыбкой на мужчину.
 Она тихонько гладит одеяло.
 И так, как ей чутье продиктовало,
 утаивает счастья половину.

Он говорит, и суть его рассказа
 поймут, наверно, только эти двое.
 Так пылко он не говорил ни разу.
 Он искренен сейчас с самим собою

и с миром искренен сейчас, - а это
 освобождает от всего, что ложно.
 Молчат одушевленные предметы,
 и занавески дышат осторожно.

Быть мертвыми предметам не по вкусу.
 И, на людей взирая с замираньем,
 они поддались их переживаньям,

как самому горячему искусству.

Как хорошо. Покой. Полутемно.
Стучат часы, похожие на птицу.
Проходит непогода сквозь окно,
чтоб в зеркале спокойно отразиться.

Они лежат. Как легкое весло,
ее рука спускается с кровати.
Всю суету волною отнесло.
Ничто не нарушает благодати.

Да будет так. Пусть хоть на эту ночь
от них отступят смута и усталость,
не вспоминают пусть, что превозмочь
разлуку никому не удавалось,

что всякой радости выходит срок,
что горечь стала жизненной основой,
что существует непреклонный рок
помимо географии суровой.

Есть всюду поле, проволока, столб...
Граница слуха, языка и зренья...
Но сердце для того дается, чтоб
развилося безграничное терпенье.
И мира грязь, осевшую на дно,
вода уносит – так легко и просто –
ценой их ласки.
И глядит в окно
ночь,
как привставший на носках подросток.

КРЕМАЦИЯ СТАРЫХ СТИХОВ

Я прав... Перед собой и небом прав!
А ветер мне цеплялся за рукав.
Но ветер слаб. Судьба не виновата.
Я вижу, как горят, ладонь разжав,
стихи, тобой любимые когда-то.
Так я сидел и пламя сторожил.
И различал потрескиванье жил.

Побеги звезд в окне росли и крепи.
 Стихи мои – вот в этом легком пепле.
 А я, глупец, всю душу в них вложил!

ПАОЛА УРУШАДЗЕ

Поэт, переводчик. Историк театра. Живет в Тбилиси.

Теренти ГРАНЕЛИ

ПОЭТ В ТЕМНИЦЕ

Черные мысли – напарники верные, –
 Нет и не будет от вас мне спасения –
 Лоб, как Христу, окровавило терние,
 Так же, как он, я дождусь вознесения...

Помнишь, к тебе я протягивал руку,
 Ангел, замкнувший в минувшее двери...
 Что тебе стоило дать моей муке
 Облик и образ, и срок ей отмерить?

Помнишь, мой ангел, когда-то на воле я
 С ветром был дружен, а в стуже осторожной
 Сторож бессменный – моя меланхолия –
 Вместе с мечтой об ином... невозможном...

Было безмолвие... как многоточие...
 Поздней догадкой делиться мне не с кем.
 Срок истекает... На небе воочию
 Вижу: Христос на звезде Вифлеемской...

Скоро июнь... он почти за порогом...
 Май на исходе. Промчался, как вихорь.
 Двадцать седьмое... Просил я о многом...
 А ныне молю лишь о заводи тихой...

А здесь только ропот и злые приказы,
 И сил у дождя лишь на шепот, на трепет...
 Тюрьма, как виденье больного проказой,
 Встает, шелушась человеческим отребьем...

И все горячей обливается кровью
 Сердце при виде порока и злобы...
 У ночи, укрывшей нас общим покровом,
 Срок вышел, но колокол так и не пробил...

Мечты зарыдали, как дети-сироты, –
 Нет ночи конца! Нет предела мученью!
 Замки тяжелы, неприступны ворота...
 И я примирюсь с моим заточением.

Ночь – без управы – все длится и длится...
 За окнами темень, чернее черного...
 Свежестью веет... кому-то не спится –
 Он вспомнил поэта и заключенного...

Галактион ТАБИДЗЕ

ЭФЕМЕРА

Неземными вихрями – бешеными, ярыми –
 Мои кони синие мчались на ристалище...
 Я запомнюсь в вечности только Ниагарами,
 Что срывались первыми с гулом нарастающим.
 Знаю: я единственный, и судьбой заранее
 Было мне начертано в небе звездным инеем –
 Жизнь без вдохновения – тлен и умирание,
 Для меня вселенная – только кони синие.
 С возгласом «Галактион!» ветер вслед погонится,
 Дрогнет и из хаоса не сумеет выбиться.
 Там, где гроздь поздние, там, где крест и звонница,
 Там бессмертной магии белый мрамор вздыбится.
 Скоро тучи вьючные, что на кручах грезили,
 Караваном выступят, – ждать уже не долго.
 В каждой моей клеточке бьет ключом поэзия,
 Каждой каплей крови я – лишь грузин и только.
 Сколько будет горечи в этих взглядах жалящих:
 Вновь прорвались к вечности сказочным усилием
 Интервалы звонкие на стихов ристалище,
 В конном состязании – снова кони синие...
 Слышен рокот издали, – не спеши, прислушайся:
 Молния о молнию! Небо в муках корчится,
 И горит, бессильная перед этим ужасом,

Та черта – последняя – между мной и творчеством...
 Снова станет Временем дней чересполосица,
 Ночи одичалые тонут в лунной нежности, –
 Только эфемерные мне начала по сердцу,
 Те, что у бескрайности, те, что у безбрежности...
 Пальмы в нимбе солнечном! Значит снова в детстве я...
 Снова жизнь представится мне в обличье истинном.
 Как и я – огромную – тайну в ней приветствую
 В ком-то мне неведомом, как и я – единственном.
 На напевы праздные я не тратил времени, –
 Мир исчерчен ранами... Запах тьмы и тления.
 Башня с привидением выплыла из темени,
 И душа бездольная ищет в ней забвения.
 Пусть меня отчаянье бросит в даль ледовую,
 Где ни сада с розами, ни равнины с пашнями, –
 Втисну в шапку полюса каблуки пудовые,
 И пусть небо с вьюгами бьется врукопашную.
 Кину дланью щедрою миру неимущему
 Бойни небывалые и мечты несметные,
 Кинусь в бездну прошлого, вознесусь к грядущему,
 Чтоб химерам выстроить капища бессмертные.
 Хрустнули вдоль полюса льды меридианами,
 Вновь ищу я гибели и не жду спасения.
 Старый путь мой вехами – охристыми, рдяными
 Расчертили заново янтари осенние.
 Век бы не насытиться этим чудным бдением,
 Этим конским цокотом, лунным чернокнижием,
 Век стоять бы в грохоте призраком, видением
 С болью непомерною в сердце насквозь выжженном.
 Пусть же вечной тайною ты со мной останешься,
 Как Грааль невидимый... и долой уныние!
 Вихрем на ристалище, вихрем на ристалище,
 Вихрем на ристалище
 мчитесь кони синие!

МЕРИ

Той ночью в соборе венчалась ты, Мери, –
 На миг промелькнула очей твоих просинь
 Сквозь дымку истомы... и знаком потери
 Навек осенили нас небо и осень...
 Собор весь светился, как сказочный терем,
 Свечей вереница томила от зноя...

Той ночью белело лицо твое, Мери,
Какой-то иной – неземной – белизною...
А свет разгорался все ярче, все резче...
Цветы задышали елеем и миром...
Той ночью я понял: у раненных женщин
Другая молитва... неслышная миру.
Как горько звучало: «И ныне, и присно»...
Был полон отчаянья голос твой, Мери...
И что это было... Венчание? Тризна?
И вправду венчанье?! Не знаю... не верю.
Ведь кто-то, надрывно рыдал на погосте,
Жемчужные перстни бросая на ветер...
И, в гроб забивая точеные гвозди,
Смеялся могильщик... и в сердце мне метил...
Казалось, конца этой муке не будет,
В смятенье я кинулся прочь из собора –
Там ливень пылающий лоб мой остудит!
Там ветер мне будет надежной опорой!
Я шел наугад. Я отдался на волю
Щемящих мне душу, безрадостных мыслей.
Твой дом!.. И, пронзенный неистовой болью,
К прохладной стене я без сил прислонился.
Мне дом не ответил. Казалось, он умер.
Как долго стоял я?.. Не помню, родная.
Платаны ветвями шумели угрюмо,
Паря надо мной, как орлиная стая.
И глухо о чем-то шептали мне ветви,
О чем?.. Разве мог я услышать их, Мери!
Ведь мимо поземкой клубится по ветру,
Тот жребий, в который так слепо я верил.
«Зачем же, – сказал я, – мне счастье пророка,
Луч вспыхнул на миг и во мраке растаял.
И, бросив меня одного среди ночи,
Мечты унеслись, как орлиная стая?
Напрасно с улыбкой взирал я на небо.
Я богом был, Мери! А ныне я нищий,
И только лишь праздной толпе на потребу
Достались мои «Я да ночь» и «Могильщик»!
А дождь не кончался... печальный и мутный...
И сердце в ответ так отчаянно сжалось...
И я вдруг заплакал... как Лир бесприютный,
Отдавшийся буре на милость...
на жалость...

МАРИЯ ФАРГИ

Поэт, переводчик. Член Союза писателей-переводчиков России. Лауреат литературной премии имени Юрия Долгорукого. Живет в Москве.

Лия СТУРУА**СОНЕТЫ****О РАЗНЫХ РЕБРАХ**

Ребро болело. Смесь из розы с ядом
В бокале на невидимом столе,
И время, и пространство одолев,
Учила роль мою – всегда быть рядом.

Ни имени не знать, ни одеянья.
Водить тебя по голубой траве
С венком на непорочной голове.
Но тихо зрело тайное желанье,

Чтоб ты постиг, как плохо без меня,
Взял лук тугой и оседлал коня,
Увидел смерть в глазах у кроткой лани,

Ночь черную, подушки мягкий свет
И утомленный ласками рассвет,
И золотое яблоко познания.

ОЖИДАНИЕ

Всю зиму деревья меня ненавидят.
Напрасно я брежу зеленым теплом.
Одна я. И сахара сладкий апломб
Мне гадок. А соли святое наитье

Царапает горло. И слово гранитом
Надгробным молчит. И пронизан мой дом
Бессрочным туманом и ветреным льдом.
В нем белый шаг мамы над вазой разбитой.

В нем тени другие, забытые мной,

И черного города облик иной:
По узенькой улочке, солнцем облитой,

Идешь ты. И белый миндаль за спиной.

Как сладок лени мед в конце войны!
Им приправляю бархатную кашу
Из молока и солнца в синей чаше
Прозрачных сумерек моей вины.

И правду, горькую, как черствый хлеб,
В ней размочив, старательно глотаю.
И, онемев, отчаянно латаю
Прорехами зияющий рассвет.

Но ваши похвалы – все та же брань!
Бог мой, какая золотая грань
Меня от прочих смертных отличает...
И вновь меня спасает терпкость чая,
Овечий сыр, просоленный насквозь,
И «Витязь» мой при свете красных роз.

ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ СОЖГЛИ

С душой простилась – гостьей высших сфер.
Без света дом. А впереди – могила.
Плов поминальный, чей-то профиль милый,
Хлеб и вино – из области химер.

Нарядно рдел багряный интерьер.
Последнего спектакля пантомима
Не волновала. И, тоской томима,
Пересекла я огненный барьер.

Сжигало пламя ласково и страстно,
Даруя царство пепельной свободы,
Где боли нет и где не властны годы.

И, как давным-давно, все стало ясно...
В глазах ребенка отразился город
И тень моя – кизилово прекрасна.

ГАМЛЕТ

Как ветер в окнах голову морочил!
 Как пели нам цикады до утра...
 Все в прошлом. А сейчас – прожектора
 Не вырвут из кошмара дня и ночи.

Мне выбрали театр, эпоху, позу,
 Отчаяния маску – на века.
 Косится зло атласная щека.
 И принца речь таит в себе угрозу.

Но я должна любить его, пока
 Во мне моя наивность не остынет.
 Чтоб сорок тысяч братьев нам простили

Мое безумие и яд клинка.
 Что скрою я цветочками простыми?
 Кто мне поверит – зал или река?

ТОЛЬКО МУЗЫКА

Растрепавшийся локон поправишь.
 Заломив непомерную цену,
 Для тебя ветер сгонит на сцену
 Километры мерцающих клавиш.
 В тишине нервно скрипка заплачет.

Соло альта протянется к солнцу.
 Струны стоном космических лоций
 Хрупкость фарфора плеч обозначат.

И, забытая другом и небом
 В жизни, тихо идущей на убыль,
 Ты мелодией правишь упрямо.

Ничего не сравнить с этой негой!
 Потому тебя музыка любит,
 Нерасчетливо, нежно, как мама.

БОРИС ХЕРСОНСКИЙ

Поэт, эссеист, переводчик. Клинический психолог и психиатр. Лауреат специальной премии «Literaris» (Австрия), Русской премии, поэтической премии «Anthologia» журнала «Новый мир». Живет в Одессе.

Шота ИАТАШВИЛИ**ОН БРОСИЛСЯ С БАЛКОНА**

Мой балкон моя главная сцена.

Сюда выхожу каждое утро,
приветствую публику,
театрально размахиваю
Руками и ногами.

Сюда иногда выхожу в полдень
и ставлю смешные представления
вместе со своими детьми.

Сюда выхожу каждый вечер
и бормочу новозарожденные стихи.

Мой балкон – моя подлинная сцена.

И как любой артист,
я мечтаю умереть на ней.

ЗЕВКИ

Давай, сходим в кино,
цвета на экране более яркие,
чем на обоях нашей комнаты.
И мужчины и женщины
там говорят более умно, чем мы.

Давай, сходим в кино,
сядем рядом друг с другом
и проведем две параллельные прямые
от наших глаз к экрану.

Давай, сходим в кино,

а то и ты сама видишь,
как осушили мы друг другу зрачки
и уже иссушаем сердца.

Давай, сходим в кино,
Чтобы отдохнули наши взгляды на воображаемых лицах,
И чтобы успокоились наши страсти на воображаемых телах.

Давай, сходим в кино,
и хотя бы на час забудем, что в последнее время
приходится искать недостающие слова,
которые должны были бы сказать ...

Давай, сходим в кино,
там вместо нас другие будут разговаривать,
другие будут влюбляться и страдать.

Давай, сходим в кино,
пусть там другие займутся сексом.
Мы сможем сделать это позднее,
как будто я меняю перегоревшую лампочку,
а ты чистишь грязные кастрюли на кухне.

Давай, сходим в кино,
ведь там мы не обязаны
часто обмениваться пустыми словами,
поцелуями со вкусом второсортного сыра
и выеденными взглядами.

Давай, сходим в кино,
где мы можем скрыться друг от друга так,
чтобы ежики нашей совести
не царапали наши сердца.

Давай, сходим в кино и посмотрим,
как умрет главный герой.
Ведь это куда интереснее,
чем мысли о собственной смерти...

Давай, сходим в кино,
сядем в кресла,
коснемся друг друга локтями и вообразим, что
очень хотим быть вместе и

именно поэтому мы пришли сюда,
 как та парочка,
 которая обнимается в первом ряду.
 Давай, сходим в кино,
 завяжем в удобной темноте зала
 и направим к экрану те линии,
 которые уже давно не пересекаются.

Давай, сходим в кино,
 давай, пойдем, пока не поздно,
 пока не начался последний сеанс,
 а то так и будем глядеть друг на друга,
 на зевающие физиономии.

Давай, пойдем,
 чтобы пробраться в боль и в радости незнакомцев,
 и хотя бы на некоторое время
 потеряться друг для друга...

ЛИФТ

Душа в лифте моего тела
 перемещается верх-вниз.
 Иногда застревает на этаже сердца,
 иногда давит пальцем на верхнюю кнопку
 и начинает движение к высшим этажам моего разума...
 Но чаще всего спускается вниз,
 к железам внутренней секреции,
 выходит в подъезд мочеиспускательного канала
 и на его стенах царапает
 разные порнографические и срамные слова...

ВОЗДУХ

Стихотворение двигалось во мне,
 Как дверь в японском доме,
 Оно закрывалось и открывалось,
 Но ни наружу, ни вовнутрь,
 А просто гладко, гладко скользило.

Стихотворение двигалось во мне,

За этой дверью,
 Как женщина в японском доме,
 обнаженным, легким шагом с размером стопы 35,5
 И с педикюром на пальцах ног.

Стихотворение двигалось во мне,
 Как рука японского каллиграфа,
 Охваченного любовью, пишущего
 На спине женщины, как на рисовой бумаге.

Стихотворение двигалось во мне,
 Как японская страсть на татами,
 Странная и обычная одновременно.

Стихотворение двигалось во мне.

Звиад РАТИАНИ

Тадеушу Дабровскому

Мы с моим другом до сих пор пишем стихи.
 Смеяться здесь нечему. Мы и сами не рады,
 что так глупо искалечили наши единственные
 (или пусть даже не единственные) жизни. Иногда

я пытаюсь оправдываться, обычно вот так:
 «Пока человек не знает, когда он умрет,
 будет существовать и поэзия» – говорю я другу,
 он начинает думать. Я уезжаю в командировку,

бессонная ночь в гостинице. Как всегда,
 не захватил с собой книжку. С телевизором мы не в ладах,
 но, за неимением лучшего, нервно перепрыгиваю
 с канала на канал. Вот и они, мужчина и женщина

со сверкающими масляными физиономиями, в сверкающих
 кожаных сапогах, блестящими губами
 и сосками, и предположительными гениталиями
 повторяют друг друга. «Секс,

декоративный секс! И почему от поэзии требовать

большого?» – спрашиваю друга, вернувшись.
 «Пока человек не знает, как он умрет,
 будет совершенствоваться и поэзия» – оправдывается друг.

Смеяться тут нечему.

НАТАЛИЯ ХНКОЯН

Филолог. Поэт, переводчик. Член Тбилисского молодежного литературного объединения «Молот ОК». Живет в Тбилиси.

Диана АНФИМИАДИ

УТРО

Утро. Мажу на хлеб
 вчерашний сон.
 В чашке кофе утонули голоса.
 Я, голодный ребенок,
 облизываю ноябрь на палочке,
 ради тебя
 и ложку лжи съем.
 И вырасту...
 И будут у меня крылья нежные
 из чайных полотенец.
 И горы,
 горы моей кухни.
 Вы верите в сны?

Этой весной город, правда, идет мне,
 Как будто на мою фигуру сшитый,
 На губы сладкий клей намазала,
 К уголкам глаз подрисовала тени домов,
 Кокетничаю
 Подогнанными по фигуре
 Песчаными улицами,
 Фонтанами, восковыми домами,
 От самой себя бегу к нему,
 Перепрыгивая через 2 ступеньки.
 Как комаров, что на лицо мне налетали
 (у озера Паравани)
 И по сей час пищат в моем теле,

говорю, что кофе
 горячий, как и твои виски
 говорю, сколько мне ложек сахара
 говорю, что завтра я занята
 говорю, не хочу
 говорю, что ты это все
 говорю, что уже засыпаю
 говорю, что это моя система
 и здесь не поворачивайся
 говорю, что разбился термометр
 но... успокойся
 говорю, что завтра не будешь ты кашлять
 говорю, что люблю я тебя

и открываю тебе свою любовь,
 и открываю закрытые уста свои, и высыпаю
 слова,
 вирусы
 и серебристые фантики от конфет.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Поэт, прозаик, эссеист, критик, переводчик. Лауреат премии Андрея Белого и Русской премии. Живет в Нью-Йорке.

Ника ДЖОРДЖАНЕЛИ

* * *

Там, в полусумеречном углу вечера,
 ты поешь колыбельную запряженному веревкой,
 уже наполовину сомкнувшему глаза дракону.
 Звезды, эти междометия вселенной,
 рассыпаются в небе над тобой.
 Твоя неприступность несравнима
 с неприступностью сказочных темниц,
 ты куда дальше, чем они,
 за морями в нескончаемых волнах
 по ту сторону песочного детства,
 там, куда даже свет, зажженный тобой для меня,
 долго не попадает своим ходом,
 и куда тянутся из теплых стран,
 в обход родимого края,

перелетные птицы.
Там,
у ворот
кладбища,
ты стоишь с ветром в волосах в ожидании меня,
не желая ничего, кроме
моего выхода.

Шота ИАТАШВИЛИ

ИМЯ И ФАМИЛИЯ

Посвящается «Ботинкам» Ван Гога

Мы – имя и фамилия,
верная пара обуви
всегда единственного человека.
Как только он рождается,
тотчас надевает нас:
сперва фамилию, затем вскоре и имя,
чтобы они ходили по земле,
пересекали границы,
топали по грязи и
дефилировали по ковровой дорожке почета
под торжественную музыку...
Когда бы не беспокойные мы,
ему бы не сделать ни шага,
не объяснится в любви другой паре обуви,
Не согрешить, не раскаяться,
Словом – не жить...
Мы, конечно, постепенно изнашиваемся,
но до конца – никогда,
хотя порой перестаем нравиться хозяину,
и он добровольно меняет нас на
новую, блестящую обувь.
Порой половину пары, а иногда и всю.
Например:
Костровицкого – на Аполлинера,
Квирквелия – на Гранели,
Спенсера – на Чаплина,
Сэмюеля Клеменса – на Марка Твена.
А женщины, выходя замуж,
часто примеряют к одной ноге ботинок мужа.

И нам больше ничего не остается -
 Пыльные, послушно валяемся у них в шкафах,
 В надежде, что хоть иногда нас вспомнят...
 Хотя чаще
 В комплекте остаемся с ними до смерти.
 И позже,
 Когда исчезает наш человек,
 Мы остаемся в этом мире,
 Как свидетельство его прежнего существования.
 Мы уже не движемся, однако
 показываем новым поколениям,
 где он двигался,
 почему и зачем...
 Иногда, как будто наш хозяин одноногий, –
 Шота, Илья, Акакий, Галактион... –
 потомки замечают лишь одну обувь,
 чистят ее, наводят лоск...

Итак,
 мы – имя и фамилия,
 и если описать вкратце,
 это и есть наша жизнь...
 Конечно, нет ничего вечного,
 и чуть раньше или позже
 нас выкинут на свалку.
 И кто знает,
 может лишь после этого
 станет видно, кем на самом деле
 был тот человек,
 которого мы всю жизнь водили по свету...

НАТЮРМОРТ

Я здесь давно
 ем хлеб и ем железо.
 (Нет, правда, не метафора,
 я в самом деле ем железо,
 я яблоко люблю,
 обкусанное положу на стол
 и вот смотрю,
 как там оно ржавеет.)

Я здесь давно

пью воду и сладкий огонь.
 (Нет, правда, не метафора,
 я правда пью сладкий огонь
 в горячем зелье чая из полыни,
 когда в нем растворится сахар, дую
 на огненный стакан и прикасаюсь
 к его краям.)

Я здесь давно
 вдыхаю запах падали с цветами.
 (Нет, правда, не метафора,
 я падалью действительно дышу,
 уже неделя, как передо мной
 лежит, гния, свинина на столе,
 уже воняет, и над ней
 навозные кружатся мухи.)

Я здесь давно,
 бутылъ абсента справа водрузил,
 при ней стакан и сахара кусочки,
 разбросанные по всему столу.
 Свиная ляжка слева
 и нож тупой,
 букет цветов и яблоко обкусанное в центре.

Я здесь давно
 ем хлеб и ем железо,
 пью воду и сладкий огонь,
 вдыхаю запах падали с цветами.
 Восходит солнце, осветив квартиру,
 чуть обождет меня,
 потом заходит
 и вновь восходит.

Я здесь давно.
 Мы здесь давно.
 Давнее не бывает.

Звиад РАТИАНИ

В конечном счете и я научусь жить неплохо
 и ничем, кроме того, что ты видишь во мне, уже не буду,

вряд ли и тем, что ты видишь во мне.

И еще научусь писать о других и говорить о себе,
говорить о себе как о других.
Это будет моя месть поэзии.

Разве плохо она повелевала мной?
Не требовала ничего, кроме измены,
а запрещала только писать.

Изъян был во мне. Даже в стихах не удавалось
заслонить глупостью трусость.

Вот и сейчас нет смелости на последние строки,
остается лишь научиться жить неплохо,
довольствоваться предпоследними стихами.

И каждый раз, когда призовут к разумной жизни
или, напротив, попросят новых стихов, я сниму лицо
и всем покажу свою истинную маску.

НИНО ЦИТЛАНАДЗЕ

Журналист. Арт-менеджер. Докторант Грузинского государственного университета театра и кино имени Ш.Руставели. Живет в Тбилиси.

Бесо ХВЕДЕЛИДЗЕ

ТОЛКОВАНИЕ СНОВ

(А - К)

А. Если во сне явится Авель, и накрыть стол, и отведать жаркого из ягненка, и запить его хлебным вином, и говорить здравицы: земле, небу и воде, дабы в очаге горел огонь, и вспомнить все – случившееся и грядущее, и утром, не сомкнув глаз, встретить рассвет –

- Наяву же, после смерти родного брата, ты больше никогда не будешь бриться. Борода же будто почувствует твою печаль и станет расти настолько быстро, что спустя три года, каждый полдень ты будешь ходить к роднику с тележкой. Когда ты донесешь кувшин на застеленной твоей бородой тележке до родника, услышишь от сидящих там двух старух:

- Наша сущность - этот мир вокруг нас ...

- Ничего подобного! – Наш мир и есть сущность ...

- Сущность в мире!

- Не ври! Суть там – мир здесь, и все равно мир и есть суть!

- Мир не имеет смысла!

- А мы?

- Мы?! Мертвые, в которых нужно вдохнуть жизнь.

... Услышав это, ты призовешь одну из них к себе, она наполнит кувшин холодной водой, и ты закутаешь кувшин в свою же бороду так, чтобы у него видно было только горлышко.

Б. Если Авель со счастливым лицом скажет тебе во сне, что идет к истинному Отцу в деревню, и попросит пойти с ним, и ты, не раздумывая, согласишься, и последуешь за ним, и Отец встретит вас по-прежнему: с морщинами на лбу и прожитыми годами в морщинах, и нагих поставит вас в давящую, и заставит давить виноград, и будет говорить вам: не различаю вас, так люблю обоих –

- Наяву же, через шесть лет после смерти родного брата, борода твоя уже будет лежать по всему дому, как ковер. Она полностью покроет пол в гостиной. Часть бороды, не используемая как ковер, даст тебе возможность беспрепятственно ходить по дому, и в доме у тебя будут звучать здравницы и задаваться вопросы:

- Жизнь наша, как новогодняя елка, и мы на ней игрушки?

- Да, но как же шишки?

- Неужто, пока не упадут, не узнают жизни?

В. Если во сне поздно ночью деревенские парни позовут тебя к Отцу и пригласят тебя в соседнюю деревню кутить, и стол будет богато накрыт, с хлебным вином, мясом, зеленью, рыбой, и пойдут друг на друга парни из двух разных деревень и начнется драка: свист дешевых тарелок на деревенском балконе и цветной скатерти, и ты встанешь по одну сторону, а Авель – по другую, и будете драться друг с другом во имя справедливости, и ты будешь побит –

- Наяву же, через 10 лет после смерти родного брата, твоя борода будет стелиться уже по всей деревне. Такое странное и оригинальное дорожное покрытие привлечет в деревню много иностранных туристов. Желание увидеть ее будет настолько сильно, что иностранцы, восхищенные, начнут ходить по твоей бороде босиком, ты же в это время будешь опрыскивать виноградник или, усевшись на дерево, собирать фрукты и безмерная длина твоей бороды совсем не стеснит тебя.

Г. Если во сне ты тихо встанешь на рассвете, и пьяный, принесешь в дом вилы, и наколешь на них спящего Авеля, и он немедля испустит дух, а ты убежишь босиком, и спрячешься в глухом лесу, и будешь питаться сухой травой и стоячей водой, и истощаешь –

- Наяву же, через двадцать лет после смерти родного брата, борода твоя достигнет таких размеров, что окраины деревни станут похожи на дремучий лес. Это обстоятельство привлечет в деревню еще больше иностранцев. Первый поток превратит в традицию групповые прогулки, рискованные экстрим-экскурсии и сбор выросших в бороде древесных грибов. Здесь же будут зафиксированы первые ужасающие факты грабежа и изнасилования иностранцев.

Д. Во сне, узнав что с вами случилось, ужаснувшийся Отец босиком пойдет в соседнюю деревню, и возьмет пригвожденного Авеля на руки, и отнесет его домой, и

своими руками выроет ему могилу для человека среднего роста, и проклянет тебя, сдвинув брови и сомкнув губы, за осквернение Отца, Земли, Неба и Воды. И будет пламя гнева в глазах его –

- Наяву же, на двадцать пятый год после смерти родного брата, тебя пригласят в столицу на телешоу и заставят долго говорить о политике, сельском хозяйстве и женщинах с обнаженными животами. Твоя борода же будет уже такой длины, что достигнет столицы, и на протянувшейся от деревни до столичного телевидения твоей бороде той поздней осенью много птиц переведет дух.

Е. Если во сне привязать к лапке дикого голубя написанное мокрой землей послание и отправить к Отцу с объяснениями, и сообщить, что, несмотря на большое желание, искреннее раскаяние в связи с содеянным так и не приходит: что Авель пусть и был братом, но младшим, и в таком случае, он должен был встать не на сторону слепой правды, а на сторону старшего брата, и не должен был поднимать на тебя руку –

- Наяву же, через тридцать лет после смерти родного брата, населению разрешено будет бесплатно использовать твою бороду, и экспорт париков, подушек и искусственного покрытия для футбольных площадок возрастет вдесятеро.

Ж. Если во сне Отец наденет на себя железные чувяки и возьмет железную палку, и взвалит на спину увесистый мешок, и оставит открытым дом, пойдет тебя искать и повстречает медведя, сонного и голодного, и спросит у него – «Не видел ли ты моего Каина?», и ответит медведь, что не видел, а Отец заставит его оскалить зубы, и не увидев в них куски твоего мяса, положит медведю руку на плечо, и они вместе пойдут тебя искать –

- Наяву же, в сороковую годовщину со смерти родного брата, тебя выберут деревенским старостой и на заседании деревенского правления все будут трепетно слушать твои длинные выступления. Борода же уже будет такой, что по твоей благородной инициативе ее частью перекроют крыши домов всего района.

З. Если будут они идти долго, не смыкая глаз, и сильно проголодаются, Отец и медведь, и приметят гнездо диких пчел на верхушке дерева, и Отец вырежет у себя желчный пузырь, и надует его, и медведь полетит на этом пузыре, и смиренно попросит у пчел меда, и пчелы дадут медведю мед, и Отец выстрелит в пузырь, разорвет его, и медведь упадет на землю, и они отведают меда, и станут сильны, и продолжат путь, дабы найти тебя, и возьмут с собой полчище пчел –

- Наяву же, через сорок пять лет после смерти родного брата, твоя борода начнет седеть. Но ты не беспокойся из-за этого, поскольку использование твоей бороды в качестве искусственного снега охватит не только жаркие восточные страны, но и весь африканский континент.

И. Если во сне встретится изможденным Отцу, медведю и пчелам зима по имени «Тебя заморозила смерть», и если спросят у зимы: «Не ты ли погубила холодом и снегом нашего Каина?», и скажет зима – «Не я», а ты в это время и вправду будешь сладко спать в глубине другого леса, и они возьмут с собой и зиму, и все вместе пойдут тебя искать, и скоро стемнеет, и сонный медведь выдернет у себя клочок шерсти, а пчелы своими жалами разожгут на нем огонь, и загорится костер, и зима обратится в весну, и выпьются они в тепле, и на рассвете продолжат путь - Отец,

внезапно зазимовавший медведь, пчелы и весна по имени «Зеленый цвет радует глаз», а ты в это время будешь собирать ранние ягоды и питаться ими –

- Наяву же, в пятидесятую годовщину со смерти родного брата, когда в десяти крупнейших городах мира пройдут показы платьев и кнутов, сшитых из твоей бороды, ты будешь лежачим стариком с белым, как полотно, лицом. Когда ты почувствуешь себя слишком слабым, попросишь позвать священника и, вместо исповеди, скажешь всего два слова:

- Побрей меня, отче!

Священник перекрестится, затем приложит к твоим губам золотой крест, возьмет в руки остро заточенную бритву и чисто побреет тебя.

К. Если во сне тебя будут звать добрыми словами, и ты будешь нем, так как испугаешься отцовского гнева, и если страх заставит тебя тайно выйти из леса, и спустишься ночью в низину, и укроешься ты в искрящемся городе, и станешь его первым и вечным попрошайкой, и Отец благословит пчел вернуться в лес, медведя по его собственной просьбе - отправиться в город, и его возьмут в зоопарк, и будет Отец искать тебя один, и будет спрашивать, и не найдет тебя, и часто будет тебя встречать, но не узнает, тебя, со многими лицами, и будет ходить туда-сюда, с болью о сыне –

- Наяву же, на твои похороны придет много народа. Во многих городах будут проведены поминальные процессии с твоими черно-белыми фотографиями, и все это покажут по телевидению в прямом эфире. Тебя похоронят на окраине деревни, на маленьком, но со всех сторон обзриваемом холме, и на твоей могиле поставят глобус, крутящийся и с орнаментом, на котором буквами, сплетенными из твоей же бороды, на трех языках будет написано:

`Zma ZmisTvisao"

«БРАТ ЗА БРАТА»

"BROTHER FOR BROTHER"

ГИНА ЧЕЛИДЗЕ

Филолог. Литератор, переводчик художественной литературы. Живет в Тбилиси.

Бесик ХАРАНАУЛИ

Я закрою глаза
и усну сладким сном,
потому что возьму тебя в плен моих снов,
веки сомкну осторожно...

А наутро
слезы мои отопрут тебе двери...
И ты улетишь...

Есть минуты,
когда среди ночи
ты вдруг слышишь какие-то звуки...
И теряешься,
не можешь понять,
что они напоминают:
то ли цокот копыт,
в память впечатанный с детства,
или страх, когда деревья
шумят листвой,
стук женских каблучков
и мучения студенческих лет.
Есть минуты,
когда среди ночи
ты вдруг слышишь
какие-то звуки...
И лишь позднее
с трудом понимаешь —
это бьется сердце Земли.

ПОЭТ

Ни на глоток,
ни на грош,
ни на один стебелек,
ни силой,
и ни умом:
а лишь — одной слезой
я больше вас!

ЛЮБОВЬ

Я был у тебя этой ночью,
но не застал тебя дома...
И дома твоего не было нигде в городе...
И того города
не было нигде на земле.

Хлопнули дверью,
ушли,

защемили в дверях мой взор,
устремленный им вслед.
Перерезали луч.
И оставили здесь
грустное лицо человека,
обрамленное далекими воспоминаниями.
Забрали бы уж и его.
Опустошенное,
к чему оно мне теперь!

ИЗ МЕЧТЫ

Благослови тебя Бог,
солнца утренний луч.
Путь твой ко мне был так долог,
что в дороге
изодрались твои башмачки.
И стоишь ты теперь босой
на моем подоконнике.

БЕССОННИЦА В ДЕРЕВНЕ

Не спится,
ну и пусть...
мою развеет грусть
лай деревенских псов
и крики петухов,
и шорохи ночные,
и стрекоты сверчков.
Ведь даже в куцах рая
не слышно будет, знаю,
всех этих голосов.

БАБОЧКИ

Любовь началась у нас, как у бабочек,
о которых
все знают лишь то,
что дни у них сочтены.
Поэтому нас прощали и не травили.
Мы и сами были напуганы,
опасались
первых дней, первых встреч,

и всюду,
 куда б ни впорхнули,
 ощущали себя чужими,
 помня всегда, что мы бабочки,
 о которых
 все знают лишь то,
 что дни у них сочтены.
 Но время,
 наверное, было за нас.
 Прошли и весна ... и лето...
 И как-то холодным вечером,
 когда мы заглянули в полюбившееся нам кафе,
 женщина, подававшая кофе, которая прежде
 обслуживала нас
 с ничего не выражающим лицом,
 смотрела на нас доверительно и улыбалась.
 Спасибо, бабочки!
 Вы улетели,
 вы забрали с собой
 свои хрупкие ломкие крылья,
 свою тленность и недолговечность.
 И оставили нам на память
 бесконечную трепетность.

КОРИДОР

Это был длинный коридор древнейшего замка,
 Тихий, заполненный книгами,
 Где даже девушка-служанка
 Не решалась ускорить шаги,
 Так благоговейно входил сюда человек.
 Еще издали
 Взору его
 Представал земной рай,
 И, преисполненный почтения,
 Поднимался он вверх по лестнице –
 Все здесь было вечным и незыблемым.
 Это был длинный коридор древнейшего замка,
 С шаткими половицами и пустыми канделябрами,
 Одна из дверей вела на широкий балкон,
 Вторая – на тихий уютный двор.
 Нетрудно представить,
 Как порой сливались здесь воедино

Вырвавшиеся на мгновение
Из женской и мужской половин господских покоев
Струи воздуха,
Сливались также тени и голоса
И тут же куда-то исчезали,
Унесенные сквозным ветром
То ли к западу, то ли к востоку,
Так как одна из дверей была всегда распахнута,
Вторую же беспрестанно кто-нибудь открывал.
А в далекие времена по коридору ходили не спеша
И бесшумно.
Единственный, кто в первый и последний раз
Поднялся по лестнице бегом,
Растревожив тишину коридора
Сердитым стуком каблуков,
Вбежал в спальню
И бросился лицом вниз на подушку,
Был молодой хозяин замка.
Но тогда произошло и кое-что другое:
Через какое-то время коридор и весь замок
Сотряслись от звука выстрела.
С того дня
Дверь коридора распахнулась и уже никогда не
закрывалась.
В нее входили и выходили.
Все выносилось и уносилось,
Отдирались половицы, обдирались стены и потолок,
Так как замок уже никому не принадлежал,
А точнее, принадлежал народу.
Коридор стал напоминать караванный путь –
Все добытое и краденое
Перетаскивалось по нему.
Отошло в прошлое время,
Когда бег по нему считался признаком безумия,
И никто не посмотрел бы даже вслед бегущему,
Когда люди никуда не спешили,
И даже Психея ездила на арбе.
Сколько раз разгоряченный с пылающим лбом
Попадал я в сквозняки коридора.
И если, пройдя его, ты не заболел,
Значит, ты был здоров.
Если же таился в тебе какой-то недуг,
Он отзывался на это мгновенно.

Даже в спальню невозможно было войти спокойно —
 Непременно столкнешься с кем-то,
 Или кто-то сам на тебя натыкался.
 Проносятся мимо взад-вперед
 Дети и их родители.
 А подростки — эти прыщавые девочки и парни
 В переходном возрасте —
 Окончательно лишили покоя
 И замок и его коридор.
 Шум, голоса, звуки, безмозглость.
 Женщины, мужчины ... Одни входят, другие выходят -
 Обе двери распахнуты настежь, и от этого гаснет
 свеча,
 Перевернуты половицы, стены сгнили, с потолка
 смотрит небо,
 Из земли просочилась вода ...
 Не выдержал замок такого количества звуков,
 людей, топот и беготню,
 Зацах и заплесневел.
 Сейчас идет речь о евразийском коридоре,
 Но, милостивый Боже,
 Неужели он станет новой Вавилонской башней,
 И унесет нас с собой сквозной ветер этого коридора,
 Как бабочек, сдует со стен наши святыне фрески,
 Унесет наши монастыри и крепости,
 Нашу воду и землю, наш язык
 И место рождения?
 Будет продано все,
 Горы сравнятся с долиной,
 Женщины одичают, и мужчины обабятся,
 И останется между двумя морями
 Большой коридор,
 Где беспрерывно будут дуть сквозные ветры,
 Где погаснет наша свеча.

Елена ЧЕРНЯЕВА

Поэт, переводчик. Филолог. Выпускница МГУ им. Ломоносова. Живет в Тбилиси.

Ника ДЖОРДЖАНЕЛИ

ЗЛО

Хоть ни двора, ни дома, ни кола

у нас совместного, но линия свела
на древе жизни нас. Мы думали, однако,
умрем один в один, и
часовня света вспыхнет вслед секунде мрака,
виденье белых стен и Дамиан.

Так думали мы, в трудном раздвоенье
друг с другом, но пришло прозрение:
так просто не попасть за тридевять земель. Другие
давно ушли, найдя себе подобных,
в простуде зябкой монументы стыли.
А солнце двинулось, явившись в ночи окнах.

Наверно, думала сначала ты, как я:
в разлуке нашей есть вина дождя.
И нашей близости не хочет снег...
Не снег, не дождь, узнали мы с тобой,
а что-то, что змеей скользнуло вслед,
а что-то, что решило быть судьбой,

мешает нам, страхует наш провал,
взрывает воздух, воду, перевал
в горах кривит в жестоком катаклизме. Ждешь
меня ты тщетно. Но наступит ясность,
и брызнет цвет с дворов и улиц, с влажных крыш,
о, только б ты в окне стоять осталась.

На этом свете крыши... города...
и расстояние, что держит врозь всегда —
след меткости, гвоздившей руку Бога.
Мгновенно выросшая между нами пядь,
есть пядь земли, закрывшая дорогу,
боль той ладони, что болит опять.

ПАМЯТИ ЖИВОГО

Лежишь с телеграммой, которой лет двадцать, в руке,
На той стороне, где потом остановится сердце.
И гвоздь попадет не в ладони, не в стопы тебе.
Прямехонько в лоб тебя ждет попадание это.

И все ж не признаешься: вот он, ничтожный конец.
Античной трагедии суть ты собой усугубил.

И плачешь, порой, как гетера, которую спец
Насильно увез из Европы в бордели Стамбула.

И пара коньков подломилась в мозгу на бегу.
Без света живя, ты глазеешь на свет маяков.
И все все равно: то ли в зеркале видеть тоску,
А то ли взирать на нее из него.

ДАНИИЛ ЧКОНΙΑ

Поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-Центра. Главный редактор (соредактор) журнала русской литературы «Зарубежные записки». Живет в Кельне.

Эмзар КВИТАИШВИЛИ

Я доброго увидел человека —
Зеленого кузнечика держал он.
Нес осторожно, чуть стены касаясь.
Кузнечик бедный. Человек искал
Зеленую лужайку... Но — напрасно...
Песок и доски, все в цементной пыли...
И этот незнакомец (показалось
Проходим — не в себе он), голубыми
Глазами озаряя все вокруг,
Прошел по спуску и скрылся с глаз.

А женщины, которые мне снятся,
Мне солнце затмевают.
С каким терпением расшиты
Ваши покрывала.
Как белизной сияют
Несмятые постели ваши.
За лесом каменным порой таитесь от меня
И укрываетесь за стенами песочного оттенка.
Повсюду тянется за вами взгляд,
Не в силах оторваться.
И ночи не пройдет,
Чтоб не прокрался к вам я,
Чтоб я у изголовья не присел.
Над зеркалами смотрят на меня

Девические ваши фотографии.
 И украшения разбросаны, словно доспехи.
 И ваше одиночество обнажено.
 На докрасна навощенном полу оскальзываюсь.
 Ухожу украдкой...
 Вы, от которых днем я прячу взгляд,
 Столкнувшись где-то в переходе или на панихиде...
 На самом деле рядом с вами быть —
 Дороже жизни.
 Мне солнце затмевают
 Женщины, которые мне снятся.
 Они хотят обожествленья, — я-то знаю,
 И времени, которого у нас не может быть.
 Я замечал, что кое-кто из них
 Слегка согнув коленку,
 Стоит себе на остановке.

Гурам ОДИШАРИЯ

* * *

ты была бесконечной
 как дыхание
 и у мно жал о с ь
 имя твоё

в

о

з

в

р

а

щ

а

ю

щ

е

е

с

я

к устам
 как бумеранг

ты была – дыхание
и бездонные как небо
глаза

твои смотрели

с

в

е

р

х

у

на январскую землю

было холодно
где-то раскалывались звезды
овалы дней и столетий

у

р

г

к

и

повторяли

глаз

т

х

в

и

о

ЗМЕИНАЯ ЛЮБОВЬ

Я это знал, и этот страх таю,
Он – молния стремительного яда:
Вдруг разглядеть ползущую змею,
В самом названье – ощущение гада.

Об ужасе словам не прекословь.
Да и подвластна ль им, словам нечистым,
Та страстная, та тяжкая любовь,
Как тем лучам сплетенным, серебристым?!

А я тогда убил одну из них,
И проклял их неведомого бога,
И шум, и свист, и шелест их затих...
И безмятежна мне была дорога.

Но богу их проклятья нипочем?
 Иль мой Господь продлил объятья эти? –
 Двойным и серебрящимся лучом
 Я их наутро в том же месте встретил.

Над бездыханной, над убитой мной,
 Объяв ее, другая умирала...
 Картины этой леденящий зной
 Храню, как тайный клад души усталой.

Да. Грех на мне! Убийца, мрачный тать!
 И мне расплаты не избежать тоже...
 Но дай же верность эту испытать!
 Хотя бы раз! А там... Суди мя, Боже!

ГАГРА

вот она Гагра
 синей тучи привет
 медленный свет
 и цвет уходящего лета
 осветивший лицо
 женщины этой

вот она Гагра
 древняя как дорога
 и наверно величием Бога
 пролитая в дни печаль
 густая немного

вот она Гагра
 крылья взгляда
 в небо взметнула
 и утонула
 в слезинке вселенной
 где-то растаяла
 постепенно

вот твоя Гагра

* * *

В вечернем городе блестит мокрый асфальт.
Куда-то торопятся, улыбаясь, девушки...
А в освещенной витрине
 среди больших барабанов,
один-одинешенек сидит
маленький плюшевый медвежонок,
которого сегодня после долгих раздумий
так и не купили...

* * *

Это не столь печально,
что вымерли —
всему на свете
 есть свой конец —
беда
лишь в одном:
теперь уже
 больше никто
 на земле не помнит —
пели порой
или вовсе не пели
динозавры.

* * *

Если все же на свете
допустимо присутствие зависти,
я завидую каменщикам:
споро они работают,
делают свое дело
и буднично так,
степенно,
понемногу
движутся
к небу.

* * *

И ты состаришься тоже.
 Бойко носиться
 станет тебе не вмоготу,
 и будешь похож на усталую птицу.
 Выйдешь тогда на балкон
 с книгой в руке,
 укутанный
 и печальный...
 Это единственное, наверно,
 Лекарство от старости...
 Чего еще надо?!
 Когда сидишь на балконе –
 ты опять-таки дома,
 и почти на улице,
 и чуть-чуть
 все-таки
 в небе...

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ

Поэт, переводчик. Лауреат Государственной премии России, Пушкинской премии фонда Альфреда Тёпфера, Пушкинской премии России, национальной литературной премии «Поэт». Живет в Москве.

Хута ГАГУА

СЕМЬЯ

Когда ни лая, ни луны в ночи,
 Когда свежо в деревне и в долине,
 Т женщина на лавке у печи
 С рбятами, кутятами моими
 Сидит и что-то вяжет у огня,-
 Я встану здесь, где все так незнакомо,
 Что если бы не отсвет из окна,
 Я не узнал бы собственного дома.
 Люблю я у калитки постоять,
 В холодный плащ запахиваясь туже,
 Люблю потемки иль, верней сказать,
 Достаточно мне кашлянуть - и тут же
 Кутят мои вскочат – и к дверям,

А мать их между тем отложит нитки,
Откроет дверь и – хоть не верь глазам –
Цветной ковер расстелет до калитки.

МОРОЖЕНОЕ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

Когда жаркое лето приходит,
И навстречу друг другу снует
С запотелым мороженым праздный
И спешащий куда-то народ,
Вижу я, как на станции где-то,
Все забыв, я стою у ларька
С тем мороженым послевоенным,
О котором и память сладка.
Вот проселочной пыльной дорогой,
Ног не чуя, бегу я домой,
А до дома ни много, ни мало –
Перелесок и луг небольшой.
Вон и папа стоит у калитки,-
Он в соломенной шляпе видней, -
Там же фыркает белая кляча
И хвостом отгоняет слепней.
Я спешу, я хочу поделиться
Безграничным восторгом с отцом,
Но слова застревают у горла,
И отец с напряженным лицом
Так глядит на меня, что под взглядом
Я молчу, я признаться боюсь,
А потом меня с жаром уложат,
И кто знает, когда поднимусь...
Ты согласишься, отец, и сегодня
Сам не знаю с чего, но опять
Тот восторг еще мучает душу
Так, что хочется в голос кричать;
Та сладчайшая радость ребенка,
Горечь забываемых лет
Ще мучает сдавленным криком,
Еще жжет – и забвения нет.

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ, ИЛИ ДВЕНАДЦАТЬ ПРУТЬЕВ

1.

Сидел я сиднем. Не тянуло выйти.

Но что-то билось бешено внутри,
 Металось и грудную клетку грызло,
 Рвалось наружу. Так струна зовет,
 Так требует, чтоб прикоснулись пальцы.
 А я уперся вроде ишака,
 И лишь когда о шею обломились
 Двенадцать прутьев, вышел поостыть,
 Почувствовав, что дюжины довольно,
 Еще один – и ноги протяну.

2.

Дивясь, уставился я на витрины:
 Еще дымился политый асфальт,
 И заалевшие ланиты стекол
 Пылали. Я уже не разбирал,
 Рассветный свет горел или закатный,
 Но солнце скрылось... Две реки текли
 По тротуару, два потока встречных,
 Один другому как бы говоря,
 Что колея одна, но путь единствен
 И встречный путь, понятно, ложный путь.
 Так думали одни
 И так – другие.
 И я оцепенел: где третий путь?

3.

Неужто выхода нет? Оглядевшись,
 Я у проезжей части увидал
 Машину. За рулем дремал водитель.
 И я на кузов, как на пьедестал,
 Забрался вмиг (мелькнуло: вот – трибуна!)
 И, встпв со сванской шапочкой в руке,
 Воскликнул: - Люди! Видели вы маки,
 Заполыхавшие на склонах гор,
 Или траву, пробившуюся к свету
 В полях Колхиды раннею весной? –
 Так и во мне возликовала радость,
 И руки я воздел, и закричал:
 - Послушайте меня! Постойте, люди!
 Я вас л ю б-л ю!.. – и больше ничего
 Не мог я прокричать...

Все хохотали...

4.

Где слышал я подобный хохот? Где?
 Да в цирке... И теперь я на арене
 Стоял как клоун или дурачок.
 Не все ль равно, где хохотать! Был повод:

- Я вас л ю б-л ю!..
 Не правда ли, смешно?

5.

...О, бедный гоемычный Иагора!
 Мне вспомнился сегодня человек,
 Который изводил своих соседей
 Неудержимым смехом. И когда
 Приехали за ним, - Рук не вяжите! –
 Взмолился он и сразу как-то сник,
 Ведь с белыми халатами не шутят,
 А у него единственный пиджак,
 Тем более, что баба-потаскуха
 Не стоила и пуговицы, но...
 Его связали все-таки, связали
 И смех заставили навек забыть.
 Запомните его глухие слезы,
 Бессильные что-либо изменить...

6.

Полегче, смехачи! Забавы ради
 Не прикасайтесь к струнам болевым!

7.

Я чувствовал спиною: из кабины
 Водитель вылез и застыл как столб.
 Я понял: он готов со мной схватиться,
 Но выжидал – он явно был не лев,
 При этом улыбался, убеждая,
 Что лучше, в общем, мирно разойтись.

И тут я спрыгнул –
 И народ отпрянул.

8.

Когда я выпрямился, то узрел

У перекрестка две стены живые
 И как аллея длинный коридор,
 И лишь ковра, пожалуй, не хватало
 Для торжества. Я отряхнул пиджак
 И – нет бы горделиво и надменно –
 Пошел домой, не видя ничего,
 На стены натываясь, с мутным взором.

Так в клетку входит укрощенный зверь.

9.

Я понял неизбежную ошибку.

10.

Да, это наглость – о любви кричать
 И боль свою навязывать кому-то,
 Ведь и любовь, я понял, тоже боль,
 И надо цену знать и вес молчанья.

11.

С тех пор с моей любовью у меня
 Нет споров. Никуда мы с ней не лезем.
 Да прикажи мне на трибуну влезть,
 Все б кончилось минутою молчанья.
 Не потому, что я уже не так
 Люблю людей, что заживо любовь я
 Похоронил в душе, - наоборот –
 Она меня заставила вот это
 Стихотворенье написать, и я
 Сегодня же его размножить должен
 И вчетверо сложить, и разослать
 На все четыре стороны.

12.

Простите,
 Что адреса нарочно не пишу.

КЕТИ ЧУХРУКИДЗЕ

Поэт, переводчик, теоретик культуры, философ, музыкант. Автор интеллектуальных исследований. Живет в Москве.

Шота ИАТАШВИЛИ

* * *

У якорей заливаются рыбы,
Крепко сомкнув свои впалые рты.

На палубе мокрой стоят моряки
И смотрят на птиц, переводящих им
Эти песни немые.

КОНТАМИНАЦИЯ

В желтых лучах сновиденья я грезил
о китайке,
но она оказалась моей забытой невестой,
что заразилась боткиным после того, как
рассталась со мной, вышла замуж и умерла.
Пальцами в золотых кольцах
она вытягивала углы глаз,
подражая маньчжурской девушке,
затерянной среди 5 миллионов шанхайских
и миллиарда китайских жителей,
мечтающей о печальной и просторной родине,
где возможны конденсированные
дружба и любовь
с таким изысканным юношей, как я,
в желтых лучах реального дня или даже сна,
когда все, что сверкает – золото,
даже свадьба и хворь,
когда цвет кожи потомков Лао-Цзы
не станет препятствием,
но лишь эффектным способом явления во сне,
а также способом сокрытия в серой тоске
одной миллиардной части бытия.
И это только в том случае,
если ты когда-то была
ослепленной невестой какого-то мальчика,
а потом спарилась с кем-то другим
и после вполне здоровой жизни
в одном из огромных городов Азии,
в бытность туристкой с ослабленным любопытством,

искренне и безропотно умерла,
 когда по сердцу тебя
 переехал случайный
 и вовсе не желтый рикша.

Давид ЧИХЛАДЗЕ

СЛАВА КАЛИ, СЛАВА МАТЕРИ ДУШ!

Воздвигай бумажные башни
 Среди уличных дождевых потоков,
 Отнеси усопшим сон,
 Чтобы они побыстрее ушли, ибо
 Они не приходят больше,
 Не поют и
 Не курят сигарет
 В этой вечности, которая
 Окружена холодным зимним
 Космосом и кружится на кровавом
 Острие согнутого ножа Кали.
 Джайа кали, Джайа ма бхаватарини!
 Аум дум дургайа намах!
 Вот, мои бумажные корабли, в пустыне,
 Горят в огне и
 Не мокнут от воды.
 Вот, вселенная моего сна
 Гордая в желтых огнях,
 В которых мужчины и женщины танцуют
 Без устали.
 Посмотри, поезда извиваются
 Не торопясь,
 И переносят тела из одного
 Мертвого города в другой
 Вдоль таинственной реки,
 На углу улицы стоит женщина
 В ожидании журавлей, но они
 Не появятся,
 Кто-то звонит по 59 центовому
 Телефону,
 В два часа ночи,
 Почему-то ликуя.
 Я считаю прошлое,

Но в руках и на голове —
Ничто.
Хотя возможно все
и начинается сейчас — прекрасный
Обед и немного сна.

* * *

Это озеро. Вечер, когда мы с тобой присядем под елью,
Поставим на головы солнечные венцы и оливковыми
Телами озвучим серебристое пространство.

Этот поцелуй, ночь, с горизонта сойдет Диана
И громогласно прикажет: танцуйте, пойте! (вы наверное
Нравитесь друг другу)...

Давай убежим от нее! Спрячем эту любовь. Этот
Букет: ромашки, розы, колючки
И святую, светлую
Слезу: маленькую настолько, что ей не скатиться, не высохнуть
Никогда.

Потом - город,
Витрины: если отражаешься в них, знай, что ты жив.
Можешь там оставаться и ждать,
Даже если я не приду и вдруг забуду,
Что и ты — в этом городе, и помнишь все
так же как я

Дорогая, это
Озеро, вечер (когда мы присядем под елью,
Поставив на голову солнечные венки и оливковыми телами
Озвучим серебристое пространство)
Только туман
В нераскрытой розе.

+

ночью в муштаидском парке горят неоны + встреча + сад + мои тбилисские
друзья будто ветераны нулевой отечественной войны + Карло Качарава
и Нико Ломашвили + Нико Цецхладзе + Шалва цветок Панцулая + Мамука
Цецхладзе + дом Сандро Кобаури + сюрсексиндуриализм + я сам, Давид
Чихладзе + Ираклий (Лена) Чарквиани + Котэ («Дада» Дадияни)

Кубанеишвили + Кетино Садгобелашвили + ракета Настя Хвостова + Метро + Гела Патиашвили + Кети Месхи детская железная дорога + корабль + Меги Бурчуладзе + дай затянуться косяком с лукавой улыбкой + радио Тбилиси отвратительное и прекрасное + Мамука Джапаридзе + 4 аккорда на наших инструментах + Гиа Чиладзе + нежная гитара Кобы Кобаури + две звезды + Олег Тимченко + Манана Арабули (фотоаппарат) Кети Капанадзе + два дерева + мой отец в небытие кот Бруно Барс Эгоф в небытие три попугая зимнего небытия отец Меги все бывшие предметы небытия в комнате большого моря + старый и постстарый Тифлис порушенный большими колбасами + идем по улице между высокими заводами моркови и перца + видно солнце + наступаем на индустриальный оловянный мусор, подаренный, а может и нет + помним + Гиа Дзидзикашвили + Москва + Турция + Гурам Цибахашвили + Вова Железов + прыжок с балкона + парашют + сгибание ног + приземление + выпрямление коленей + взгляд направо и немного наверх + восход солнца + едет старый москвич или старое красное шевроле + испанская музыка + отпирание старых окон в большой деревне + большие деревенские жители громко смеются + развешена большая стирка + спустился с горы большой ветер + джох-арт* + кофе булка дыня арбуз + холодно снег + красная площадь + шагаем по индустриальному мусору + солнце сверху следует за нами + слова и горны + золото + тело + бусы + жизнь дружба свобода.

* Джох-арт (буквально: «палочный арт») — неологизм.

ТО, ЧТО ПОТЕРЯНО, НЕ НАЙТИ

Бом! — Кали-Кали: поет Мриданга, мриданга солнце,
Мриданга бьется, Мриданга — сердце!
Бом! — где найти тех, чьи следы стерты с лица земли?
Бом — Будда,
Можно сидеть в лотосе миллион лет и никогда не узреть
Чибу!
Ибо есть город, а в нем метро не менее сложное, чем ты сам,
Метро — его бессознательное.
Тысячи женщин увиденные за миллионы лет — все — та единственная
Которой принадлежишь,
Бом! Вспомни — сколько ты видел солнц и все они Одно!
Бом! Вспомни — сколько лун ты видел и все они Одно!
Кружится космическая карусель.
Появляется гуру и говорит:
Все, что теряешь сегодня, находишь назавтра.
А я сообщаю вам сегодня же: мое сердце пещера

Неандертальца, в которую войдет Чибу; так же как и когда-то впервые,
 Миллионы лет назад.
 Мое сердце тихо и глубоко, как неизвестный колодец,
 Скрытый в недрах забытой земли.
 Бом! — Эти облака, реки, машины и галактики, — куда они
 Направляются с братской песней.
 Бом! — городские улицы и огненный горн:
 Не теряй ни мгновения,
 Не теряй вообще ничего.
 Бом! — на горизонте сна возникает свадьба снега с первым дождем.
 Бом! — Видишь! Сердце налилось подобно весне, набухло
 как спящая грудь Белоснежки.
 Бом! Кто спасся от инстинкта смерти, автомобиля секса?
 Аборты на космическом пути — которые — круг.
 Потери на автостраде — которые — круг святого космического свечения;
 Не забывая ни единого мгновенья, не забывая вообще ничего.
 Бом! — сердце мое непорочно до восхода солнца,
 Несется подобно хищнику за юной молнией. Глощает огни и нервы солнца.
 Бом! — сердце мое танец неслыханный, нестояние солнца,
 когда оно тебя видит...
 (Сейчас оно видит извилистые ступени миновавших жизней
 в твоей прозрачной груди. По этим ступеням я бегал ломая шею
 с античными букетами в руках).
 В засохшем лабиринте кашля и распутства, сердце мое —
 Корабль, который пройдет сквозь игры солнца и вернет нас
 Домой.
 А далее боевой горн возглавит марши до окончательного томленья.
 От поцелуя до пыток, до расставанья.
 Поэтому я говорю: Om Ah Hum Budda — это проще простого
 Миллион лет сидеть в лотосе и не увидеть Чибу.

Я могу представить себе как жил Уитмен в окружении
 Праисторических медуз. На дне морей, когда он был огромным
 Синим осьминогом, грозой океанов, чучелом Посейдона и
 Дружил с морской черепахой, а теперь поднялся наверное
 По небесным ступеням и в окружении женщин лакомится халвой
 Или пробует индийский гашиш, как раз тот, о котором мечтал.
 После этого виденья приду и скажу:
 Неизменен горячий завтрак последней любви — радио забытых дней.
 Матери, отцы, братья, сестры и вообще бензин,
 Керосин, масло любви.
 Есть у нас мантра — немецкое слово Liebestod.
 Биенье: Liebestod и вновь мантра — обращение

Возлюбленных к Кали:

Бом! Кали-кали (поет мриданга, Мриданга бьется, Мриданга солнце,
Мриданга сердце): возьми наш последний кусок, наш подарок,
Только оставь на время друг другу (душою к душе, телом к телу).

Возьми наши кровь, пот, слезы, ибо кто знает

Когда пожертвуешь нами,

И вот наконец возьми кусок совсем последний...

Поет Мриданга: Om Ah Hum Budda?

Очень легко миллион лет сидеть в лотосе и никогда не

Увидеть Чибу, чье сердце

Цветок утренний.

Чье сердце — ласточка в небе...

АННА ШАХНАЗАРОВА

*Редактор, переводчик. Соруководитель (совместно с Михаилом Ляшенко) союза
«Ассоциация литераторов - АБГ» и молодежного литобъединения «Молот О.К.»
Живет в Тбилиси.*

Майя САРИШВИЛИ

Мои вещи

Унесла прозрачная река,

Унесла все,

Что красило мне пальцы голубым.

В море вынесло их,

Запутало в водорослях,

Позабыли они меня и спят на дне.

И только в темном отверстии одной бусинки

Затаилась прошлогодняя моя ресница.

Запах старого паркета

И осколок оранжевого стекла у самых глаз.

Хватаюсь за мысль о пространстве,

Где степенно покачиваются тяжелые кареты

И улиткам снится шум дождя.

А здесь нечем дышать.

Словно молекулы кислорода

Поштучно обернули в бумагу.

Лице Стурра

Как высоко Вы живете!
 И Вам не страшно?
 А вдруг в открытое окно заплывет облако
 Или солнцу в глаза попадет пыль,
 Когда вы убираете квартиру.
 Птицы летают под Вами,
 А бабочки – еще ниже.
 Ваши вещи стоят на цыпочках,
 Чтобы увидеть из окна,
 Как цветут внизу фонтаны
 Или как разбивается,
 Сверкнув, стекло
 На первом этаже.
 Как высоко Вы живете!
 До Ваших окон не могут подняться
 Ни птицы, ни мячи, ни фонтаны.
 И скучающие занавески
 Порой вырываются на волю
 И развеваются крыльями Ваших комнат.
 Как высоко Вы живете!..

АЛЕКСАНДР ЭБАНОИДЗЕ

Писатель, переводчик, сценарист. Главный редактор журнала «Дружба народов» (Москва). Член Совета попечителей Международного фонда русскоязычных писателей — IFRW.

Отта ИОСЕЛИАНИ**ВДОВЫИ СЛЕЗЫ**

Как бы не так, Лукаиа-долговязый! Не жрать твоим лошадиным зубам до тех пор... Не выйдет у тебя с Дарико.

Может, ты на что-то надеешься? Может, от того, что она в тот раз ни слова тебе не сказала, ты решил — все, баба твоя?

Чтоб тебе не встать до тех пор!!

Хоть бы уж на человека был похож, несчастный...

Что же ты, ростом собираешься охмурить вдову или своим лошадиным ржаньем? Ты, как буйвол, сверкнул тогда глазищами... Что, теплы были ее бедра?

И ли Дарико ее несчастья не хватит, бессовестный? Хотела помочь тебе мешок перенести, пожалела, надорвется, мол, а ты, как проклятый, как раз тогда и споткнулся о корягу.

Что? Скажешь: из-за мешка недоглядел...

Ох, утра не видеть твоим бесстыжим глазам! Что же ты в ее сторону свалился и бабу под себя подмял?!

Хорошо еще, свекор ее болен... Будь он здоров, не пришлось бы ей связываться с тобой.

Сейчас небось радуешься в душе: Сардионова вдова, мол, на коленях у меня сидела...

Лукаиа! Если есть у тебя хоть капелька совести, как ты можешь так думать. Если бы ты приволок какую-нибудь в дом, а потом протянул бы ноги, разве Сардион позволил бы себе такое?

А потом, когда ты отнес муку, а Дарико и на глаза тебе не показалась, не стыдно тебе стало? Видела тебя Дарико, видела, да не показывалась!

Или ты хотел еще раз споткнуться и упасть на нее?

Даже мельком нигде ты ее не увидел, так и ушел, оставив мешок на балконе. И с арбы оглянулся, как будто невзначай, между прочим. И опять ее нигде не было.

Как ты не сгорел от стыда?

Неужели и после этого думаешь: на коленях, мол, вдова у меня сидела?

Стыдно тебе!

Четыре года носит Дарико черный платок, четыре года дрожит над слегшим от горя свекром и, ей-богу, ни разу голову не подняла, цвет неба позабыла... Как же ты смел подумать о ней такое? Где твоя совесть, Лукаиа!

После того дня Даро ни разу не просила тебя отвезти зерно на мельницу. После того дня Даро просила об этом других соседей, а иногда и сама взваливала на плечо мешок и шла... Да, конечно, свекру очень неприятно: разве пристало женщине мешки на мельницу таскать. Но теперь не те времена, которые помнит свекор. На уборку чая женщины ходят в сторону мельницы. И Даро занесет на мельницу пуд зерна, оставит, до вечера чай будет собирать, а вечером зайдет... и готова мука.

Часто случаются попутчики, иногда арба нагоняет. То один поможет, то другой. Бывало, что и самой приходилось тащить перехваченный посередке бечевкой мешок.

Иной раз ночь заставляла ее в дороге. Там, где начинается дубняк, страшно вато ночью, но в этих местах редко кого встретишь, а если кто и попадется, то поздоровается почтительно и пойдет дальше.

Недолго осталось ей ждать. Вот уже новую мельницу строят в центре села. Хорошее дело — электричество...

Да, так лучше для Дарико. И незачем ей просить Лукаию. Пусть лучше она помучается, чем за мешок помола позволит долговязому валять себя, как дыню в подоле.

Два раза проезжал после этого дылда мимо ее двора и оба раза оставался ни с чем... А сам как будто не обращал на нее внимания. У других, мол, соседей беру зерно, вот видишь, арба полна мешков.

Но Даро знает, что за червь гложет эти лошадиные зубы.

Сегодня кончилась мука у Даро, вытряхнула остатки. Свекор, хоть и встал, но не настолько крепок, чтоб идти на мельницу. Придется ей сходить и в этот раз. Вот-вот должен приехать долговязый на своей арбе, но Даро опять отпустит его не солоно хлебавши. Может, хоть тогда дойдет до этого мерина, что не станет Сардионова вдова стелиться под него каждый раз, когда он споткнется.

Она сходит в амбар, вынесет кукурузу, попросит свекра помочь ей и управится до вечера.

Сейчас засуха. Кукурузу нельзя оставлять на мельнице. Сборщицы чая уже не ходят в ту сторону. Все работы перенесены на другой участок, к каналам.

Пока рано. Она, конечно, успеет размолоть зерно.

До вечера обязательно надо успеть. Кому охота каждый день тащиться в такую даль. К тому же на днях этот мерин появится и, довольный, заржет.

- Чего ты спешила, гого!* Я не мог отвезти это, что ли?

* Гого – девочка. Принятое в Грузии обращение.

Девочка? Какая она девочка! У нее муж был и семья осталась! Как же можно ее, вдову, девчонкой называть!..

Уже, пожалуй, шесть лет никто не называл ее так. Это и он знает, но...

- Девочка...

Господи, какая я ему девочка!..

... Даро взвалила на плечо мешок, надвинула черный платок на брови и пошла.

Она быстро будет идти и успеет до вечера.

А ты, долговязый... не дожидаться тебе того дня. Вот уже скоро построят новую мельницу, и останется Лукаиа с разинутым ртом.

Когда вдова подходила к мельнице, солнце уже расплылось, растеклось по небу. Она сорвала с головы платок, удивилась:

- Отчего так тихо? Может, я заблудилась?

Нет, она не заблудилась. Вот и старая бревенчатая мельница, крытая побелевшей от мучной пыли черепицей. Но почему-то не слышно ни шума, ни плеска... Двери открыты, но мельника не видеть.

Даро осторожно вошла в сруб. Мешки были навалены один на другой, мучная пыль окутала все, негде было ступить. Даро опустила мешок на пол и вышла поглядеть на запруду: мельник, присев на корточки, затыкал щели в маленькой плотине.

Не хватало воды. Потому-то и набралось столько зерна. Дарико долго ждала мельника.

- Хоть бы уж поскорее домой отпустил, — беспокоилась она.

Мельнику и самому неприятно было задерживать вдову.

- Если бы бункер не был заполнен... — пожалел он и пустил набравшуюся воду.

Вода стремительно побежала по узкому желобу, упала на лопасти колеса, и из тяжелых жерновов, показалось Даро, послышалось ржание Лукаии-долговязого. Даро испуганно огляделась.

- Не убежишь, не убежишь, не убежишь! — смеялся Лукаиа где-то рядом.

Слышишь, Лукаиа! Даро устала, ей хватит и своих забот. Ты лучше оставь ее, язва, не то она не даст себя в обиду.

Мельник закрепил мешок над бункером и стал засыпать зерно.

- Куда убежишь, куда убежишь, куда убежишь! — опять заржал Лукаиа.

Эй, долговязый! Ты лучше ступай своей дорогой. Даро не из тех, с которыми можно позабавиться. Уж лучше женись. Напрасно ты таскаешься за Сардионовой вдовой.

- Не убежишь, не убежишь, не убежишь! — не отступает долговязый.

Мельник выгреб муку и обернулся к Даро.

- Если подождешь, как вот это перемелет, в первую очередь... — извиняется старик.

Даро только сейчас вспомнила, что уже стемнело. Вскочила, выглянула за дверь. Солнце закатилось, оставив землю наедине со звездами.

Мельник опорожнил ее мешок.

- Не убежишь! Не убежишь! — захрипели жернова.

Кто знает, может, ты и раньше косился па Дарико, потому и не обзавелся своей семьей. Ты хоть теперь подумай о себе. У Дарико не злое сердце... нет. Ну что ж, что судьба обидела ее? Она никого не винит в этом и чужому счастью не станет завидовать. Найди свою дорогу, Лукаиа, свое счастье найди, несчастный...

Вдруг жернова, словно осипнув, захрипели тише. Мельник вышел на плотину и перекрыл воду. Стало тихо.

- Дедушка! Что ты сделал, дедушка?! — вырвалось у Даро.

Далеко в тишине послышался протяжный скрип арбы.

- Кто-то еще целую арбу везет на помол, — пробормотал мельник.

Скрип приближался, слышался все явственней. Даро пробрала дрожь.

Арба подъехала к мельнице и встала. Мельник выглянул из дверей и, прежде чем поздороваться, спросил:

- Ты что, для крыс, что ли, это привез?

В ответ раздалось длинное ржанье.

Даро закрыла глаза и прислонилась к столбу.

- Будет дождь, — говорил Лукаиа. — Не бойся, старик, будет дождь. А не будет — и черт с ним...

Даро сорвалась с места.

Если Лукаиа увидит ее здесь... Нет, не дай бог! Нет... Лукаиа! Отчего ты ног себе не обломал?! Отчего не перевернулась твоя арба! Почему мост под тобой не провалился? Что за

злой ветер занес тебя сюда! Только этого ей не хватало, только этого!

Нет. Она должна убежать. Лукаиа не должен увидеть ее здесь...

А мельник? Что скажет мельник? Кто знает, может, старик даже обрадовался в душе, нашел, мол, вдове попутчика.

Нет, нет... Пусть говорит, что хочет, пусть, что хочет, думает! Она не может поехать с Лукаией через все эти поля, через этот густой дубняк, по темной, пустой проселочной...

Как ей потом свекру на глаза показаться!

Нет, лучше убежать.

Лукаиа занес огромный куль, бросил его в темноте на другие и зажег спичку. Мельник пустил по желобу воду, и опять заржал Лукаиа.

- А теперь куда убежишь, а теперь куда убежишь!

Даро хотела встать, но не смогла и повернулась спиной к вошедшему.

Лукаиа зажег коптилку.

- Это ты, гого! Чего же ты спешила? Или я не мог отвезти?..

Даро хотела промолчать, но потом испугалась чего-то и еле выдавила:

- Я не знала... если б я знала.

Лукаиа не расслышал ее голоса в мельничном шуме, вышел, вернулся со вторым кулем, с трудом обхватив его и широко ступая.

- Чего ты ищешь, Кимоте? — спросил он мельника и, не выпуская мешка, обернулся к нему.

- Мешочек... пустой мешочек был здесь, — суетился старик.

- Мешочек, — повторил Лукаиа, — найдется, куда ему пропасть, — и еле сообразил опустить свой куль на пол.

«Мерин!.. Настоящий мерин!» — подумала Даро.

Лукаиа перетащил все мешки и сел.

- Эх, засуха... — вздохнул, он и стал закручивать самокрутку.

Про Даро он как будто и не помнил, как будто забыл, что она здесь. Поднес к коптилке свернутую, как мутака, сигарку и затянулся.

Ох, хитришь, Лукаиа, хитришь!..

Потом стал помогать мельнику выгребать муку.

Что, торопишься? Поскорее бы кончить это и выйти на дорогу...

В bunker снова засыпали зерна.

Лукаиа завязал мешок, поднял его, остановился в дверях и сказал:

- Будет дождь, верно тебе говорю, — потом обернулся к Дарико, — ты что, не идешь, гого? — и заржал.

«Мерин!..» — опять подумала Даро и, как побитая, поднялась с места. Споткнулась о мешки, встала, опять споткнулась и, пошатываясь, пошла к дверям.

На дворе было темно. Она прислонилась к косяку и не смела ступить ни шагу.

- Идешь ты или нет?

Торопится!

- Я здесь, видишь? — окликнул ее Лукаиа, по-видимому, спрыгнув с арбы.

Даро бросилась в темноту.

Пусть хоть здесь, при мельнике, не трогает ее...

- Вот арба.

- Вижу, — прошептала она. Хотела закричать — руку, руку пусти! Но Лукаиа не держал ее за руку.

Тяжело двинулась арба.

Лукаиа шагал рядом, держась за поручень. Даро сидела, спрятав голову меж рук. Арба подпрыгивала, громыкала на изъезженной, изрытой дороге и со скрипом катилась дальше.

- Что же ты над осью села, — сказал Лукаиа, - пересядь вперед, а то растрясет.

Катилась арба, и рядом шагал Лукаиа, а мельничный шум становился все тише и тише...

- Ну-у... стой, стой! — слышался голос Лукаии.

Быки пошли медленнее. Колеса несколько раз перекатились через булыжники. Арба стала.

- Ой! — вскрикнула Даро и подняла голову.

Арба стояла над запрудой.

Чего ты хочешь, Лукаиа? Почему остановил арбу? Ведь здесь мост, сумасшедший, мост! Все дороги сходятся здесь!.. Кто-нибудь нарвется на нас. Ей хватит и своего позора... Не нужно ославлять ее на всю деревню. Хоть бы уж через мост перешли, свернули с

дороги... а лучше подожди до леса, — до леса подожди. Ведь лес, ведь вся дорога еще впереди!.. Лукаиа! Только не здесь, только не здесь! Не у моста! Слышишь, долговязый, не

тронь, не тронь ее на этом мосту! Весь мир ходит через этот мост!..

Лукаиа перешел через мост. В одном месте мост был проломан. Он отыскал пролом, запомнил его и вернулся к арбе.

...Лукаиа, переведи арбу через мост, а там... черт с ним!

Лукаиа удлинил веревку, привязанную к рогам быков, слегка стегнул их, и арба двинулась через мост. Колеса взобрались на насыпь, Лукаиа осторожно объехал

пролом, еще раз стегнул быков. Арба покатила смелее, быки побежали по скату и оставили

аробщика позади. Он неторопливо приближался к арбе. Сейчас уже не спешил долговязый.

Догонит... сейчас догонит.

Быки пошли медленнее.

Догонит, ненасытный... только не здесь, не посреди дороги. Подожди до леса...

Он уже в десяти шагах. И быки ему на радость шли медленнее.

Что с того, что сейчас ночь, что луна закатилась... Ведь это дорога. Какой-нибудь запоздалый путник пройдет или охотник...

Лукаиа уже в трех шагах от арбы.

Слышишь, долговязый... не делай так, чтоб вдову закидали камнями, не выставляй ее к позорному столбу.

Он уже рядом, взялся за поручень...

Мерин... настоящий мерин...

Даро спрятала лицо в ладони. Нет. Она не может видеть, как долговязый, задрав ногу, упрется коленом в арбу, потом подтянет вторую ногу и не станет слышно его шагов. Арба накренится назад.

Лукаиа, ты хоть с дороги сверни. Ну... ладно. Ладно! К черту все, только с дороги, с дороги сверни, ненасытный!..

- Ты что, гого, не пересела вперед?

- Нет... я сейчас, — пролепетала вдова и обеими руками сильнее вцепилась в поручни.

Смотри-ка, какую хитрость придумал... «не пересела» говорит. Арба, мол, растрясет тебя... А сам вот сейчас вскарабкается, встанет на арбу, обнимет се... Нет, не дай бог... и как будто не хочет, чтоб ее растрясло, как будто о ней беспокоится... Лукаиа, только не так сильно, знай меру, вот уж действительно мерин! Ведь ты буйвола можешь одним ударом свалить, осторожно... осторожнее! Не поломай ей ребра... не раздави женщину о свою грудь.

...Ты, верно, даже целоваться не умеешь. Откуда тебе знать, что такое нежные ласки... Лукаиа, твоими зубами шкуру рвать... Не будь таким зверем, не опозорь вдову.

Что? Не можешь! Не можешь иначе, зверь ты эдакий! Но лица,- хотя бы лица не трогай! Черт с ним, тело одеждой прикрыто... руки, плечи, грудь, все можно прикрыть... только лица не трогай.

Вот шея... у Даро тонкая белая шея. Ладно, она повяжет ее завтра, притворится простуженной, будет нарочно кашлять, ты только лица ее не трогай...

Медленно катится арба по изъезженной, усыпанной камнями дороге, и рядом, держась за поручень, шагает Лукаиа.

Что?.. Ах! Шагаешь как ни в чем не бывало... Будто бы пожалел женщину и здесь, посреди дороги, не позволил себе ничего. А в лесу ни совести с тебя никто не спросит, ни чести, ни человек тебя не увидит, ни бог. Или грех, совершенный в лесу, не грех?

А вот и лес уже близко... Что же тебе там помешает. Делай, что хочешь... останови арбу под деревом, и всю ночь Даро должна будет умолять тебя: отпусти, ради бога, отпусти домой... Я завтра буду твоя и послезавтра... Только свекра не своди с ума, он ведь ждет...

Поначалу ты даже не станешь слушать. Поначалу впустую она будет шептать. Потом ты не поверишь и заставишь ее поклясться. И она поклянется, что будет вечером ждать тебя в лесу.

А что ей останется делать? Разве может она изменить клятве? Или разве ты отстанешь от нее так легко?..

Не надо, Лукаиа, не задерживай ее так долго. Ты не знаешь, какой у нее свекор. Ты не знаешь, что значит попасть на язык всей деревне. Поверь ей, Лукаиа.

Даро не станет обманывать. Она придет, обязательно придет... Как только стемнеет, она будет на месте, как только уснет свекор. Все дела закончит пораньше, успеет все, с десятидневной работой справится за день и придет. И послезавтра придет и потом... Только сейчас не задерживай ее слишком... Ну что, в самом деле, человек же ты... что за чудище сидит в тебе ненасытное!..

Арба уже катится в густом дубовом лесу, и рядом, взявшись за поручень, шагает Лукаиа, сопит, вздыхает. Наверное, выжидает удобного места.

Лукаиа, отпусти на время. У нее семья, свекор... и совесть ее грызет. Женщина не может, как ты, махнуть на все рукой. Ты, Лукаиа, мужчина, ни жены у тебя, ни детей. Тебе и слова никто не скажет.

Лукаиа!

Лукаиа, смотри, чтоб не сорвалось нигде у тебя с языка, не сболтни где-нибудь об этом... Лучше уж своею рукой убей ее.

Но только ни слова, ты должен дальше держаться от нее после этой ночи. Мужчина должен беречь имя женщины, как веко глаз бережет... как веко глаз бережет, слышишь ты, мерин...

И в этом лесу лучше не оставаться долго.

Потом... Потом Даро сама придет в этот лес, знаешь, туда, где густой кустарник. Там в одном месте, в самой чаще, крохотная полянка, вся усыпанная старой, опавшей листвой...

Ты думал, ближе сюда? Там, где разрослась ежевика и скрыла лужайку от человеческих глаз?

Там высокая и густая трава, это верно. Но трава хуже, Лукаиа... ты же мерин, ты дерево сомнешь, не то что траву.

А на другой день пройдет там кто-нибудь. То место близко от села, так обязательно пройдет кто-нибудь, и выдаст нас смятая трава. Нет, Лукаиа, послушай меня. Там лучше... там гуще лес, вокруг кусты и ни одной травинки. Там даже раз в год никто не пройдет.

Правда, далековато, зато нас никто не услышит. Будешь же ты говорить что-нибудь, не станешь же молчать, как немой, как сейчас молчишь.

Левое колесо наехало на пень, медленно взобралось на него. Арба накренилась, колесо соскочило с пня...

- Лукаиа! — вырвалось у Даро.

Лукаиа скручивал самокрутку. Сперва не ответил, смочил языком бумагу, слепил, сунул в рот, потом зажег спичку, глубоко затянулся и спросил:

- Что случилось, гого? Думала, опрокинется? Я-то здесь для чего...

- Да, на тебя... — вдова некоторое время безмолвно шевелила губами и наконец решилась, — на тебя я надеюсь, Лукаиа.

Лукаиа выпустил длинную, белесую струйку дыма.

- Ну и не бойся.

Нет, Даро не боится тебя. Сейчас ей нечего бояться. Там, у моста, она боялась. Там нельзя было... ведь нельзя было, Лукаиа, согласись...

Арба медленно катилась вдоль неровной дороги. Колеса со скрипом взбирались на пни, на камни, перекатывались через крепкие корни деревьев, падали оттуда, проваливались в рытвины, колдобины и медленно катились дальше.

Лукаиа широко шагал рядом и пускал струйки крепкого махорочного дыма. Кончился лес.

...Лукаиа! Кончился лес. Лукаиа! О чем ты думаешь!.. Вон уже первые окна светятся...

Село началось.

34

...Чего же ты медлил, мерин ты эдакий. Сейчас, уж коли люди ничего не узнают, собаки увидят, прикорнувшие на деревьях куры встрепаются. Что ты наделал, Лукаиа! Что за черт сковал тебе руки! Ну, куда ты здесь спрячешься от людей?

Арба заскрежетала по камням.

Залаяли собаки.

Лукаиа выкурил самокрутку. Оттянув локти, заложил хворостину за спину.

Лукаиа! Что же ты!.. Смеешься над ней? Будто не хотел насильно, оттого и не тронул ее...

Ты ведь знаешь, она ни слова не сказала бы тебе... ты это хорошо знаешь. Она и сейчас не издаст ни звука, будет молчать, как рыба...

Лукаиа, смотри, вот дом!

Ее дом! Что ты делаешь? Как ты смеешь, чумной? Вдову у ее калитки хочешь опозорить! Вся бесконечная дорога, вся ночь была в твоих руках. Зачем ты так?..

Арба остановилась у калитки.

...Ну вот, Лукаиа, стала арба... Дождлся-таки наконец. Вспрыгнешь на арбу, сграбастаешь ее...

В бога ты не веришь... нет для тебя ничего святого! Здесь, в тридцати шагах, спит ее свекор...

- Ты что, не сойдешь, гого?

...Она сойдет, сойдет, Лукаиа. Куда же ей еще деваться. Вот встанет и шагнет... Ты протянешь к ней руки, будто хочешь помочь, но не дашь ей ступить на землю...

...Лукаиа, в лесу было не страшно... Здесь другое дело. Ты хоть отпусти ее сразу. А завтра она придет, куда хочешь... куда прикажешь.

Лукаиа не протянул ей руки. Он потянулся за мешком.

Даро встала у перелаза через плетень.

Вот... до этого места ждал Лукаиа.

Лукаиа, осторожнее на этих кольях...

Ах, если б доска была набита...

Лукаиа понес мешок к перелазу.

Даро замерла у плетня, закрыла глаза и прижала руки к груди. Когда возле своего уха она услышала его дыхание, она, задрожав, простонала:

- Мерин... ох, мерин!

Лукаиа опустил мешок там же, у ее ног. Он хотел перенести его во двор, но вдова закрывала перелаз, и ему не удалось это сделать.

- Спокойной ночи, гого.

ИГОРЬ ЭБАНОИДЗЕ

Переводчик, эссеист. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей Москвы.

Джансуг ЧАРКВИАНИ

РКОНИ

Вот наконец
Он возник впереди...
Молча и тихо
Ступаю, как тать...
Купол блестит,
И сверкают врата,
Самую малость осталось пройти.

Ркони, пришел я,
Но робок мой взгляд,
И прикоснуться
К тебе я не смею.
Высишься над
головой моею,
Словно надежда,
Покоюм объят.

Будто во мраке
Таящийся свет
Тьму озаряет
Внезапно лучами,
Так же орнамент,
Светившийся в камне,
Местность в небесный
Окрашивал цвет.

Ркони, казни меня
Или помилуй!

Долго бродил я,-
И вот, пред тобой.
Грешной не смею
Коснуться рукой;
Этот покой
Я нарушить не в силах.

ЮРИЙ ЮРЧЕНКО

Поэт, переводчик, драматург, актер. Обладатель звания «Король поэтов» Международного поэтического турнира имени А.Пушкина в Лондоне (2004). Живет во Франции.

Теренти ГРАНЕЛИ

ЗАБЛУДИВШАЯСЯ СУДЬБА

...И не уйти от страданий,
Стонов, проклятий и слез...
Снова вернулся сюда я ,
Словно скорбящий Христос ...

Демоны Ночи спустились,
Вечер печальный угас...
Невыносимо бессилье
Темно-фиалковых глаз.

Улицы... лестницы... листья...
Сон предрассветный, больной...

Скоро вдали от Тбилиси
След затеряется мой...

Бату ДАНЕЛИА

РАКОВИНА

На́ берег — раковиной — со дна моря я
 Брошен волною...
Что со мной стало здесь? — Все здесь иное,
 Время иное...

Белая длинная берега линия —
 Пусто, нелепо...
 Берега линия с тенью орлиною,
 Серое небо...

Но тосковать и печалиться надо ли,
 Стоит ли, брат мой? —
 Все мы случайно здесь, все мы не надолго —
 Скоро обратно...

Между приливами краткая пауза —
 Время отлива...
 Катятся волны, играют с парусом
 Неторопливо...

Там и моя волна — вот ее южные
 Ветры рисуют...
 Только обидно, что тайну — жемчужину —
 В глубь унесу я...

Ладо СЕИДИШВИЛИ

* * *

...Что мне у жизни просить беспредельного —
 В славе прожить ли?.. Пропавшим ли без вести?..
 Жди. Ветер песню споет колыбельную,
 Бросив дитя на крыльце неизвестности...

Лишь ожидание... Что беспредельнее?
 Только молчание — вечное, тайное...
 В храм приходи. Смотрят фресками древними
 Храмы на нас, посвящая в молчание...

ЧАСТЬ 2

შალვა ბაკურაძე

Поэт, переводчик. Лауреат литературных премий.

ალექსეი ბელმასოვი

სევდა

რა ხანია ჩემს სახლში აღარ მოდიან ოჩოკოჩები,
კუდურები და რუხი მგლები:
მათ სამუდამოდ დატოვეს ჩემი სამყარო.
შევეჩვიე ამას,
და დილით ადრე, როდესაც მხიარული ძაღლები ყეფენ,
და მწუხარე ავტობუსები შორს მიიჩქარიან,
თავს ბედნიერად ვგრძნობ.
სამაგიეროდ ახლა უკვე ყველაფერი ვიცი იმ დროის შესახებ,
სადაც ყველგან და ყოველთვის თან უნდა ატარო
სახელი და მამის სახელი,
სადაც პატივცემული ადამიანები ცდილობენ იარონ აუჩქარებლად
და ფრთხილად, რათა აზრები არ დაეფანტოთ.
სადაც, როგორც წესი, კვდებიან არა სიბერისაგან,
არამედ მართლობისგან.

* * *

სხვადასხვაგვარ ხეებს აქვთ სხვადასხვაგვარი სახელები,
სხვადასხვაგვარ ღრუბულებს კი სახელები არა აქვთ:
მეტისმეტად სწრაფლმავალია მათი ცხოვრება.
ეს არ ესმით მხოლოდ ბავშვებს
და ღრუბლებს სახელებს არქმევენ.
მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს ბავშვები იზრდებიან
და დგება შემოდგომა
და ხანგრძლივი წვიმები მოდის.
ადამიანები უჩივიან ამინდს,
ამინდი კი აქ არაფერშუაშია.

* * *

ამ მოხუცს თვალები ჩამოუჭკნა
და კეფიდან თმა კვამლად ასდის.
მისი ნაბიჯების ოდნავ გასაგონი შარიშური
მაგონებს დაღლილი ხეების ნაბიჯების ხმას
ღამეულ ტყეში.
ის მოდის შორიდან:
უთუოდ მე-19 საუკუნიდან.

* * *

შუქის წყალობით მე ვიცი:
რომ სიბნელეს მოცულობა აქვს;
რომ ყველაფერი, რაც გაუნათებელია,
სიბნელის შინაარსს წარმოადგენს.
ნაბიჯებისა და ხმების მდინარება,
უხილავი ქარის ხმაური,

ნესტიანი ცის სუნი,
 ყველაფერი ეს სიბნელის შინაარსია.
 მაგრამ როდესაც ცნობიერება კვდება,
 მაშინაც სიბნელე ისადგურებს.
 სიბნელე, რომელსაც არ გააჩნია მოცულობა და შინაარსი
 სიბნელე, რომელიც დროს არ ემორჩილება.
 რაზე მეტყველებს ეს?
 რას ნიშნავს?
 იქნებ იმას, რომ არსებობს ორი სიმართლე:
 პირველი - სამყარო არის,
 მეორე - სამყარო არ არის.

ნიკო გომელაური (1970-2010)

Актер, поэт, переводчик. Был ведущим артистом грузинского «Свободного театра» и Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С.Грибоедова. Лауреат премии имени Котэ Марджанишвили. Писал на грузинском и русском языках.

ვლადიმერ ვისოცკი

უცხო სახლი

ეს რა სახლი დგას, ბნელით მოცული,
 აქ ცვლის ქარი ქარს, შორით მოსული,
 ირგვლივ უფსკრულით არის მორთული,
 გზისკენ ურდულით წამომართული.

ვდგევარ დაღლილი, თან ცხენებს ვუვლი,
 დასახმარებლად არავინ მოვა,
 მხოლოდ ჩრდილი ჩანს აქ გარინდული,
 ყორანმაც რკალი შეავიწროვა.

სახლში შევედი-რა მტრებს შევები!
 ხატზე-ბერები აღმაცერები,
 მომიწყვეს წარღვნა, სტუმარს მიღრენენ,
 სულ ყველა წარღვნა სულის სიბერემ

ატყდა უაზრო, უშნო კამათი,
 ხმები მახალეს, სიმი დაღალეს,
 ვიღაც სულელი, ქურდი, ჯალათი
 დანას მიღერებს, რას არ მიბრალებს.

ვინ გამცემს პასუხს-ეს რა სახლია,
 მუდამ რატომ ქუხს, ეს რა მახეა,
 სუფევს წყვდიადი, უჰაერობა. . .
 სიცოცხლის ნაცვლად არის ღრეობა.

კარი ღია აქვთ-ბოქლომზე სული.
უხმეთ მასპინძელს, ღვინო მომართვას!
“ჩანს შორი გზიდან რომ ხარ მოსული,
სულ ასე ვცხოვრობთ” – ვიღაც მომმართავს.

“მუავე ბალახს ვძოვთ კარგა ხანია,
არც არასოდეს დაგვიბანია.
ღვინოც ბევრი ვსვით, ბევრიც გავლახეთ,
ბევრი ოჯახიც გავაპარტახეთ.”

“საკმარისია, რაც კი მაწვალეთ,
არ მინდა თქვენი კვნესა დამლელი.
გემუდარებით, გზა მიმასწავლეთ,
როგორ ვიპოვო მხარე ნათელი.”

“მსგავსი არა რა გაგვიგონია,
ჩვენ წარამარა ბნელი გვექონია,
ვართ ჩათქმულები შუღლში, შეთქმაში,
გამურულები კერპთა ძებნაში.”

არ მაქვ ატანა ამათი ბოდვის,
სად მივაჭენებ, თვითონ ვერ ვხვდები,
ნეტავ იმ ადგილს მივალწევ როდის,
აღამიანებს სადაც შევხვდები.

დრონი მეფობენ, ზღვანი ღელავენ,
უნდათ გათელვა, ვერ გამთელავენ,
მე სიყვარულზე მინდოდა მეთქვა,
ვშვი სულელური სიტყვათა სეტყვა.

მაყვალა გონაშვილი

Поэт, прозаик, переводчик, драматург. Лауреат литературных премий. Председатель Союза писателей Грузии.

ელენა ივანოვა-ვერხოვსკაია

ლოცვა

გულგრილ მსოფლიოს ვერ გაათბობ,
ვით ჩრდილს უსახურს,
ვათვინიერებ ყოველდღე ტკივილს,
დამქანცა ყოფამ, ასე ველურმა,
ყელში ვაღრრობ და ვაგუბებ ტკივილს.
მოდიან სტუმრად, სუსხიან დღეს მატებენ სითბოს,

ზეცას სერავენ გულწითელა ზამთრის ფრთოსნები,
 ღმერთო, ვინა ვარ, ნუთუ ჩემთვის არვის სცალია?
 ჯვარს შენსას ვწვდები მხოლოდ ოცნებით,
 გზა-გზა გავფანტე ყველა სიტყვა ლოცვად სათქმელი,
 შენი უდაბნო ჩემთვისაა მინდორი ნედლი,
 გთხოვ, ნუ იქნები გულგრილი და მიუწვდომელი,
 რადგან მაცოცხლებ, დამიფარე უფალო, გვედრი.
 თორემ საკუთარ სახლში, როგორც სტუმარი, დავალ,
 ღმერთო მიხსენი, ღმერთო ნუ შემშლი
 და ვეკითხები სევდიანი თვალებით ასულს,
 რა გტანჯავს, შვილო, რა წუხილი წრიალებს შენში?
 შენ სევდა ბედად გადმოგეცა გენიდან გენში,
 როგორ მაშფოთებს შენი მზერა იანვრის ცრემლში.

ჩემი სახლი

მაღლა კენჭივით აისროლე ჩემი ბავშვობა,
 ნუშის რტოებზე ლალი ფრენა შეაწყვეტინეს,
 იქ, სადაც კენჭი დაეცემა, სახლს ავაშენებ,
 ძაღლებს და კატებს შევიფარებ _ ქანცგანწყვეტილებს...
 კიდევ? მათ მომვლელ უსახლკარო გულდია ქალებს,
 ბესარაბიელ იაფ მუშებს, შავი ულვაშით,
 სუყველას, ვისაც ენატრება სითბო, საკვები,
 მოსკოვთან ახლოს დავსახლდებით, გარეუბანში.
 დავანაყრებ და შევიბრალებ, მე სიყვარულთან
 სიმართლე რომ ვთქვა, გავასწორე თუმც ანგარიში,
 ნეტავ, ამ სახლში გავზრდილიყავ, სულ აქ მეცხოვრა,
 არ მექნებოდა ცრემლით სველი ღამით ბაღიში.
 სად არის სახლი, სადაც ასე დამაგვიანდა,
 როგორც ნახევრად ცარიელი სცენა ანტრაქტში,
 ცხოვრება ისე როდი გადის, როგორც ჩვენ გვსურდა,
 რაც ბედის ნებით დაწერილა, მას ვერ გადაშლი.

თეთრი თოვბა

ერთ დღეს აღარ გავიღვიძებ,
 ერთ ნათელ თუ შავბნელ დილას,
 დავინახავ სახლს _ ფანჯრიანს,
 ნავსადგურის განაპირას.
 შევაბიჯებ განთიადში,
 ხელს დავუქნევ ბედის მწერალს,
 სახლი თუმცა პატარაა,
 ბოლოს შეიფარებს ყველას.
 ქარმა ბინდი გადაფანტა

ლურჯ ტალღებზე მოსრიალე
 ერთ დღეს, ზეცის შემოქმედი
 გამიხსენებს, შემიბრალებს.
 მეც ხომ მუდამ ვიბრალებდი
 ფრთათეთრ მტრედებს, ძაღლებს, კატებს,
 კაცთა შორის ეს ცხოვრება
 რა უაზროდ გავატარე.
 სეირნობას დაიწყებენ
 თოვლის სხივები ძველ სახლში,
 ვეძებ ნაცნობ გამოხედვას
 მე სახეთა ამაღლაში.
 ზოგი ნუგეშით მიცქერის,
 ზოგი კუშტად, ზოგი ცერად,
 მერე... მერე მხოლოდ ზღვა და
 თეთრი, თეთრი ფანტელცვენა.

ციგა

თეთრი დაღმართი, შავი კვალი, საღამო ველი,
 მე კარგად მახსოვს, ციგაზე მჭდარს მიბიძგეთ ხელი,
 ეს მე ვარ, მხედავთ? კვლავ შემკრთალი ბავშვის თვალებით
 დროს წაუშლია ჩემი სუსტი ნატერფალები.
 თეთრ თითებს ფარავს თოვლიანი ხელთათმანები,
 ისევ ვეშვები ციცაბოდან შიშით, წვალებით,
 წამწამებს შერჩა შეთრთვილული ცრემლების ია
 ყველგან ქარია, მე კი გულის კარი მაქვს ღია.
 და სიზმარ-ცხადის გასაყართან ვდგევარ მდუმარი,
 გაზაფხულების მომლოდინე ზამთრის სტუმარი.

. . .

ვერ გავედი ამ ცხოვრების მდინარეში ფონს
 მიდის უამი...
 ჩემთვის ისევ თოვს.

* * *

ნეტავ, წმინდა წყალი დამელია,
 ცხოვრება ძველ ქასთან გამელია
 და წყალში ჩავარდნილი მთვარისათვის
 ვარსკვლავთ სათვალავი ამერია.
 ყვავილებისა და ბალახისთვის
 პეშვით მიმეტანა ვერცხლის წყალი,
 გულზე დამფენოდა ღრუბლის ფთილა,
 ის, რაც შორია და ზეცის არის.

სოფელელ, გულუბრყვილო გოგოსავით
 წვიმა ხელმანდილში შემეფუთა,
 ცრემლით, იჭვებით და ტკივილებით
 მსურდა, დამეკეცა ძველი ფუთა.
 ნეტავ... თუმც რას ვნატრობ, რაზე ვდრდობ?
 ჩვეული გზებით მიდის ჩემი ყოფა
 და რომ შევასწორო ბედისწერა,
 ვიცი, ცხრა სიცოცხლეს არ მეყოფა.

* * *

ამ ქუჩას ჰქვია სიმართლის ქუჩა,
 მეც მინდა ვიყო თავთან მართალი,
 ჭკალოვის კლუბში დამრჩენია ჩემი ბავშვობა
 და საახალწლო ნაძვისხეთა თავშესაფარი.
 მონატრებაა, ახირება თუ მხოლოდ ჩვევა,
 ხსოვნას გარს ვუვლი, როგორც კოცონს პეპელა ღამის,
 სისხლი მიხმობს და სტუმრად მაინც მივდივარ დასთან,
 თუმცა ამ სახლში ჩემი მისვლა ახარებს არვის.
 მოზეიმეა ამ ბინაში ყოველი ნივთი,
 მე კი ხმამაღლა გაცინებას მაინც ვერ ვბედავ.
 ისე, გულს გარეთ მთავაზობენ ჩაის და ნამცხვარს,
 ისე, სიტყვისთვის კითხულობენ: _ `რასა იქმს დედა?~
 მეტი რა მინდა ასე ჩუმს და ღარიბ ნათესავს?
 ვილიმები და მხოლოდ ცრემლი ჟამი-ჟამს მამხელს,
 დროის მხედრებმა ჩაგვიქროლეს, გვიცვალეს ნირი,
 მხოლოდ ბავშვობის ძველი ქუჩა არ იცვლის სახეს.
 როგორც ჩკალოვის თვითმფრინავი, ჩიტი პაწია
 ტრიალებს ცაში, უკანასკნელს შეჰკრავს კამარას.
 ნუთუ არავის ენატრება ჩემი სტუმრობა?
 ნუთუ მართო ვარ სიტყვისა და ფიქრის ამარა?
 დროის ხომალდში ეკიპაჟი იცვლება მხოლოდ,
 მიდის და მოდის ამა სოფლის ყველა სტუმარი.
 მიწაა ჩვენი საბოლოო ნავსაყუდელი,
 ჩვენი საწოლი, ჩვენი სახლი, თავსასტუმალი.

ბათუ დაწვლია

Поэт, переводчик. Выпускник Литературного института имени А.М. Горького. Лауреат литературных премий.

იოსიფ ბროდსკი

სონეტი

რა საწყენია, რომ შენთვის იმად
 არ იქცა ჩემი ცხოვრება, რადაც

ჩემთვის ქცეულა ცხოვრება შენი!
 . . . და მე სპილენძის მონეტას, გერბით
 შემკულს, კვლავ ვუშვებ მავთულთ კოსმოსში
 და გამწარებით ვცდილობ ვადიდო
 მომენტი ჩვენი შეერთებისა. . .
 ვაგლახ! კაცს, ვისაც არ ძალუძს მთელი
 სამყაროს შეცვლა თავისი თავით,
 ეს დარჩა მხოლოდ: როგორც მაგიდა
 უამს სპირიტუალი სეანსის, დასკო
 ტელეფონისა აბრუნოს მანამ,
 ვიდრე სმას გასცემს ლანდი ექოთი -
 ზუმერის ბოლო მოთქმით ღამეში.

შვიდი წლის შემდეგ

ერთად ვიცხოვრეთ ისე დიდხანს - იანვრუს ორი
 ისევ სამშაბათ დღეს დაემთხვა ხსოვნად ყოფილის,
 წარბი, ცბუნებით აწეული ნელ-მელა, მდორედ,
 როგორც შუშაზე მეფხოვე ავტომობილის,
 მიგერიებდა რა სახიდან ბუნდოვნად სევდას,
 შორეთს ტოვებდა აუმღვრეველს და ფიქრში მხვევდა.

ერთად ვიცხოვრეთ ისე დიდხანს - ზეციც სფეროდან
 თუ თოვდა, თოვდა სამუდამოდ, არა დროებით. . .
 და რომ თვალებში ფანტელები არ ჩაგვცვენოდა -
 მათ ვაფარებდი ხელისგულს და ქუთუთოები,
 არა სწამდათ რა, რომ ვიცავდი, შფოდავდნენ ისე,
 როგორც შფოდავენ ფარვანები მუჭაში ზღვისებრ. . .

ისევ დავშორდით სიახლეებს, მისაჩვევს ძნელად,
 რომ ჩახუტება სიზმრად სახელს უტეხდა ყველა
 ფსიქოანალიზს - ვერთგულებდით ჩვევას ეგოდენ. . .
 და ბაკეები, სუსტი ბერვით ჩამქრობნი სანთლის,
 სხვა საქმეების რაკი აღარ მოჩანდა ლანდიც,
 ლავიწის კოცნით შენს ბაგეებს უერთებოდნენ.

ერთად ვიცხოვრეთ ისე დიდხანს - დაფხრეწილ შპალერს
 არყის კორომად მოუჩანდა ოჯახი ვარდთა. . .
 ფული გაგვიჩნდა ორივეს და ძალიან მალე
 გაუქმდა ჩვენ წინ ბარიერი, გაიხსნა ფარდა
 და ჩვენ თურქეთში, მოლაქლაქე დაისი, ზღვიდან,
 მთელი თვე ცეცხლის წაკიდების მუქარით გვღლიდა.

ერთად ვიცხოვრეთ ისე დიდხანს, უწიგნ-უჭურჭლოდ
 და უავეჯოდ - ერთურთისკენ ორი სხეულის
 ლტოლვით მორყეულ ძველ დივანზე, რაც, უეჭველად,
 ვიდრე შექმნიდნენ, სამკუთხედი იყო შვეული,

შემაერთებელ ორ წერტილის თავზემით, დროზე დაყუდებული ჩვეულებრივ, ნაცნობი პოზით.

ერთად ვიცხოვრეთ ისე დიდხანს - შევძელით კარის კეთება ჩვენი ჩრდილებისგან და გაჩნდა შარიც - არ ეღებოდა საგდულები მაგ კარს სრულებით და ვერ ვხვდებოდით, გვეძინა თუ სიცხადე გვახლდა, და გაუღებლად გავიარეთ იმ კარში ნაღდად და მომავალში ფარულ ხვრელით ვართ გასულები.

ბორის პასტერნაკი

ჰამლეტ

ხმაური მიწყდა. მე სცენაზე გაველ მაშინვე. მივეყრდენ კარს და არ ვაპირებ ვინმეს ბრალდებას. შორეულ ხმების ექოთიც ვგრძნობ, ამ ჩემ საშინელ წუთისოფელში რა ცოდვებიც დატრიალდება.

ლამის სიბნელე, რაც გარშემო ისევ მატულობს, პირდაპირ ჩემკენ მოშვერილია ურიცხვ ქოგრიტით. ამ სასმისს თუ არ მომაწოდებ, მამავ ბატონო, სიამოვნებას, ცოტაოდენს, ალბათ, მომგვრიდი.

მე მომწონს შენი ჩანაფიქრი დღეს და ამავე დროს უნდა გითხრა, რომ თანახმა ვარ ამ როლზედაც, ისე, ამჟამად ეს პიესა სულ სხვა დრამაა და ჯობს, დამდგმელი თუკი წასვლის ნებას მომცემდა.

მაგრამ წინასწარ გათვლილია აქ ყოველივე და ველი ბოლოს – ამ უშავეს დღეთა ნადავლად. . . მარტო ვარ. ყველა პირფერია და მლიქვნელია. სიცოცხლის გავლა – არ ყოფილა მინდვრის გადავლა.

პაემანი

ალარ მისცა საშველი
თოვლმა ამინდს, ალარ.
გავლა მკნდა. გავშეშდი:
შენ კარს იქით დგახარ.

მარტო, თხელი პალტოთი,
უქუდ-უფეხსაცმელოდ,
ტანს ღელვისგან ატოკებ,
თოვლს ღეჭავ და გასცქერ.

ხეები და მესერი

შორს მიდიან ბნელთან.
 შენ მარტოკა ესწრები
 თოვას, როგორც სპექტაკლს.

მანდილიდან წყალი გდის
 თუ ცრემლია მლაშე,
 შუქი, თოვლის პალიტრის,
 გიბრჭყვიალებს თმაში.

კულულები ქერა თმის,
 გინთებს თოვლის ნალტობ:
 მანდილს, სახეს, მეტადრე -
 შემოდგომის პალტოს.

თოვა თვალებს გიმშვენებს
 და შენს განცდას ერთვის,
 მთელი იერი შენი
 ქმნილებათა ღმერთის.

შენ თითქოს გაგატარეს
 სისხლის შესამუსვრელ
 შხამში ნაწობ სატევრით
 დასერილ ჩემ გულზე.

ეგ ნაკვთები ჩარჩა იქ
 და მე მიტომ ვწვალობ,
 რომ ქვეყანა, არჯალი,
 არის უმოწყალო.

იმიტომაც საზარლად
 გაორმაგდა ღამე
 და ჩვენს შორის საზღვარსაც
 მიტომ ვარ გავავლებ.

ვინ ვართ, რა სიშორიდან?
 იმ წლაბიდან მართლაც
 დარჩა ჩვენზე ქორი და. . .
 ჩვენ კი აღარ ვართ აქ.

ალიკ დარჩიაშვილი
Поэт, прозаик, переводчик

სერგეი განდლევესკი

* * *

მაწოდებდა ებრაელურ კერძებს,

ანტიკვარულ მაგიდასთან მსვამდა,
 ბრუდერშაფტზეც ჩემთან ერთად სვამდა
 და თქვენობით მომმართავდა, როცა
 გამიშალა ლოგინი და მომცა,
 ჩასტუშკებში რომ მღერიან ისე,
 ისტერიკაც გამიმართა მყისვე,
 მაგრამ, რადგან ონეგინის მსგავსად
 ვქმნიდი პეტრეს მეც ასანთის ღერებით,
 მთელი ღამე კოცნიდა და ფერებით
 დამღალა და არ გამიშვა არსად.
 შეიფერთხა ფრთები გედის ქუკმა,
 უცებ ყელში გამეჩხირა ლუკმა,
 და პირველმა რითმამ არც თუ ცუდმა
 თავისუფლად მოინდომა ცურვა.
 ჩვენ რა, არა ვართ აქ მატროსები?
 აი გემბანი, აი ტროსები
 ზურგის ქარიც ქრის, რუსეთი, ლეტა,
 და ლორელეაც იმედს იძლევა,
 მინიშნებები არის რამხელა,
 მაგრამ, ყველაფერ ამის გამხელა
 არასდიდებით არ შეიძლება.

* * *

ბარატინსკი, ვიაზემსკი, ფეტი,
 წაიკითხეთ სხვაც, ვინც გინდათ ის,
 სიკვდილია ბნელ ღამეზე მეტი
 და ის ყველა ჩვენთაგანში ზის.
 შემოდგომა ახლა ზამთარს ერთვის,
 საახალწლოდ კონიაკის სმას
 ვინ დამიშლის, გუდურა ვარ ნეხვის
 და ის მართობს, რაც აწუხებს სხვას.
 სარკეებსაც ნაცნობივით ვხვდები,
 როგორც მინდა ვითამაშებ რითმებს
 ლამის თავზე დამათეთრდეს თმები
 მე კი მაინც ვორჭოფობ და ვითმენ.
 ცხენკაცივით გავიღვიძებ მყისვე
 რა წუთშიაც ირიჟრაჟებს გარეთ,
 ყველა, როგორც შეუძლია, ისე
 ალებს თავის ჯოჯოხეთის კარებს.

ევგენი ევტუშენკო

ბორჯომი

“არ შეიძლება” შეგვიცვალა
 სიტყვა “შეძლება”,

და აჭედილ კარს
 უნდობლობის ძალა ეძლევა,
 გჯერათ, მივმართავ გრიბოედოვს
 ან თუ ნდაც პუშკინს
 რომ რუსი თბილისს,
 ქართველი კი ხელს მოსკოვს უშლის?
 კვალინდებურად,
 არაფერი შეცვლილა თითქოს,
 ხომ ვერ წაართმევ ქართულ სუფრას
 ხიბლსა და სითბოს,
 უკრავდა კნარი რესტორანში,
 თითქოს ტირისო,
 ოკუტავასაც ისევ ცვლიდა
 ძველი “თბილისო”
 და ჩაძირული ქვეყნის ფსკერზე
 გვერდიგვერდ მდგომი
 ერთად ვმღეროდით
 - განა უნდათ კი რუსებს ომი. . .
 ჩემი სტუმარი, ინგლისელი აქ ხელებს გაშლის
 მომაგონებსო ეს ადგილი საბჭოთა კავშირს.
 ამბობენ, თითქოს ყველაფერი მიდის იქითკენ
 რომ მათი ღვიმოც, პოლიტიკაც მათი ყალბია,
 მაგრამ, სიყალბე პოლიტიკის ჩვენში იკითხეთ
 ყალბი არყისგან კი
 რუსებიც განზე გარბიან.
 ამდენი სმისგან ქკუასუსტი ჩვენი მთვრალეები
 ერთმანეთს ხარბად უყურებენ
 ყალბი თვალებით,
 ერთმანეთისთვის გამიზნული
 ყალბი ფრაზებით
 ყალბად ვხარობთ
 და რა თქმა უნდა ყალბად ვბრაზდებით,
 და ყალბი ხალხი,
 ე სკი მართლაც არაფერს არ ჰგავს
 კანის ფერისთვის მოძმესაც კი
 დანით ყელს ღადრავს.
 საბჭოთა კავშირს ვერ აღვადგენ ალბათ ამჯერად,
 რომ უნდა მქონდეს ერთადერთის, რისიც კვლავ მჯერა,
 უბრალო ხალხის ქვეშეპირი ძმობის იმედი.
 რატომღაც დავკარგო,
 ვისი ხატრით ან ვისი ჯიბრით
 არ ვიამაყო ვთქვათ ჭაბუა ამირეჯიბით. . .
 დარაჯი, ჩუმად, ბოთლს გახვეულს გაზეთში მანვდის
 - “ბორჯომიანო” გენეცვალე ნობათი ამ წლის,
 ვერც კი ვიჭერებ და ეს აზრი ქკუიდან შემშლის
 ვდგევარ მოსკოვში,
 ბოლო ბოთლი “ბორჯომით” ხელში.

მეგობრის ხსოვნას

მე ძმა დავკარგე, თქვენ კი ისევ შესახებ ხალხის,
მე ძმა დავკარგე, თქვენ კი იკვლევთ ქვეყნის ხასიათს,
არ მიყვარს ხალხი, თავის თავს რომ მონადიც არ თვლის
და მძულს ქვეყანა, სადაც ღალატს თავის ფასი აქვს.

მე ძმა დავკარგე, მის ნაცვლად რომ მასთან ვაშენო
და ძმასთან ერთად დავკარგე მთელი ქვეყანა,
უკვე არ გვესმის ერთმანეთის, რადგან გარშემო
ვიღაცა ისვრის და სიგიჟეც შემოგვეყარა.

ღადგან ღალატი არასოდეს ჩაგვიდევს გულში,
მე ის ვიყავი, ის მე იყო, როგორც ერსია,
თუ ცდება ხალხი, ჩემთვის ხალხი ის იყო გუშინ,
ტყუის ქვეყანა და ის იყო ჩემთვის მესია.

კი, მე რუსი ვარ, ის ქართველი, ესეც ბედია,
უაზრო ომში ორი ერი ერთმანეთს ესვრის,
თუ ის მკვდარია, ჩემი ხალხი მკვდარზე მეტია
და თუ ის მოკლეს, ეს სამშობლო მოუკლავთ ჩემში.

ერთხელ გამტყდარი არაფერი არ შეიძლება
და მეგობარიც, ათას მოკლულ სხეულთა შორის
არასდროს კვდება, ამიტომაც არ შეიძლება
ჯვრის დასმა მასზე, მის ხალხზე დამ ის სამშობლოზე.

* * *

არ ვიცი რა ვქნა,
აი რა მომდის,
ძველი ძმაკაცი სტუმრად არ მოდის,
ხოლო მის ნაცვლად
ჩემთან სხვები,
ან
სულაც უცნობნი
ურცხვად სხდებიან.
ის სხვაგან ეძებს
ძმობას და სითბოს
და ერვენება
პოულობს თითქოს,
რადგან არ ძალუძს
ჩემთან მოვიდეს
ერთი ტკივილი გვტკივა ორივეს.
არ ვიცი რა ვქნა,
აი რა ხდება,
ის, ერთადერთი ჩემთან არ ხვდება,

მის ნაცვლად სულ სხვა ღებულობს პარადს
 და იმ ერთადერთ ქალს
 ჩემს თავს პარავს.
 მას კი რჩება რამე სხვა გზები,
 ის სხვას უყურებს
 ყალბი აღზნებით,
 და სხვასთან იწყებს მერე საუბარს,
 და ეჩვენება,
 რომ ის სხვა უყვარს.
 ო, რომ იცოდეთ,
 რამდენი კარგი
 ურთიერთობა იცვლება ყალბით,
 იქნებ მოვიდეს ვინმე
 ღმერთო და
 მონათესავე სულების ხსრტზე
 შეწყვიტოს
 უცხო სულთა ერთობა.

ანდრეი ვოზნესენსკი

ესპანური სიმღერა

ჩემი ქვეყნიდან შენს ქვეყნამდე
 ჩახუტებულებს სძინავთ დილამდე,
 მთვარე კი თითქოს ოქროს ხიდია
 ორივე ქვეყნის თავზე კიდია,
 და ერთი ფასი, ასე საამო,
 აქვს აქ ჩემს დილას, იქ შენს საღამოს,
 არ არის ჩემი ან შენი ბრალი
 დილის ნიავი ან ღამის ქარი,
 ხოლო ტყუილში მოსჩანს ფარული
 სულაც ტკივილი ან სიბრალული.
 იდიოტებთან გვიწევს თამაში
 შენს ქვეყანაში. . . ჩემს ქვეყანაში...

რობერტ როჟდესტვენსკი

იმ ბიჭის ნაცვლად

რიჟრაჟამდე გავიღვიძებ დილას,
 უვალ მინდორს გადავივლი ფართოს,
 მაგრამ თითქოს ზეზეულად მძინავს,
 რაც სხვას ახლდა, ყველაფერი მახსოვს.

ისევ აჭვიმს ამწვანებულ ფერდობს,
 ოცი წელი ბევრი არის მეტად,
 არც ვიცნობდი ბიჭს, რომელიც ერთ დროს
 კვლავ მოვალო, ჰპირდებოდა დედას.

მინდვრის ბალახს კი მწარე სევდის სურნელი ახლავს,
 უბერავს ქარი ამწვანებულ მდელოებს შორს,
 და ვფხიზლობთ რადგან შუალამით გვადვიძებს ახლაც,
 მგრგვინავი ექო დიდი ხნის წინათ გარდასულ იმოს.

რა ხანია მიწა თესლს რომ ითხოვს,
 გაზაფხულზეც ძალას იკრებს მკაცრად,
 და მე ვცხოვრობ ამ მიწაზე, თითქოს
 ჩემს მაგივრად დ აიმ ბიჭის ნაცვლად.

სიმძიმისგან ორად მოხრილს წელში,
 სხვანაირი ყოფა ერთობ მიჭირს,
 მისი ხმა კვლავ რომ ცოცხლობს ჩემში,
 და ჩამესმის სიმღერები ბიჭის.

მინდვრად ბალახს კი მწარე სევდის სურნელი ახლავს,
 უბერავს ქარი ამწვანებულ მდელოებს შორს,
 და ვფხიზლობთ რადგან შუალამით გვადვიძებს ახლაც,
 მგრგვინავი ექო დიდი ხნის წინათ გარდასულ იმოს.

შოთა იათაშვილი

Поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Лауреат литературных премий.

სერგეი ტიმოფეევი

ჯო დასენი

ჯო დასენი შედიოდა ყველა სახლში,
 დიასახლისებს ეცეკვებოდა,
 გადაქანცულ მამაკაცებს უხსნიდა, რომ
 კვლავ დადგება ოქროს ხანა იქ,
 შანზელიზებზე.
 ის იცვამდა თეთრ შარვალს და თეთრ ფეხსაცმელს და
 გაღელილ პერანგს,
 გამოდიოდა დილით ადრე ბინიდან და გვიან ღამემდე
 უკან, სახლში არ ბრუნდებოდა, ხოლო ზოგჯერ
 რამდენიმე დღით იკარგებოდა.
 ის მღეროდა, მღეროდა და ყველაფერს ნელა
 თავის ადგილას აბრუნებდა, ყველაფერს, რაც გადახრილიყო
 და გადმონგრევა ემუქრებოდა. იგი ფაფუკ კაშნეებში
 და თავშლებში ახვევდა ქალთა გულების მსგავს
 მძგერავ სხეულებს. და განუწყვეტლივ წმენდდა ის მტვერს
 პლანეტის ყველა რადიოლას. შესვენებებზე,
 ძალიან მოკლე შესვენებებზე, მიფრინავდა ლაჟვარდოვან სანაპიროზე,

და ლეოპარდისტყავიანი საცურაო ტრუსებით ლაღად შერბოდა ზღვაში,
 მერე სასწრაფოდ ტანს იმშრალეზდა, ეწეოდა სიგარეტს და
 პირად თვითმფრინავს აჩქარებული ნაბიჯებით ეშურებოდა,
 თან იმეორებდა, ბუტბუტებდა პირველ სტრიქონებს,
 რაც საყოველთაო პატიების საფუძველი ხდებოდა ხოლმე.
 ხოლო ქალები და კაცები რადიოლებს, ტელევიზორებს,
 რადიომიმღებებს რთავდნენ ხოლმე, და ის ყველგან საჭირო იყო.
 და მისი სიკვდილი კაციშვილმა არ მიიღო სერიოზულად.
 `იმღერე, იმღერე!~ - ეუბნებოდნენ და ის, ნელი,
 ხუჭუჭთმიანი, ბაკენბარდებით, ეშურებოდა ადამიანებს,
 საიქიოდან ეშურებოდა, და თხოვდა, თხოვდა:
 `დააბრუნე შენი გული თავის ადგილას,
 დააბრუნე, და არ გატეხო~.

ჩრდილოეთი

ვზივარ და მშვიდად არაყსა ვჭამ
 ქალაქის ჩრდილოეთით არსებულ ერთ დაწესებულებაში.
 ჭიბე სავსე მაქვს სანთებელებით,
 შემიძლია, რაც მომესურვება, დავწვა ან სულაც
 სანთებლის ალზე გავითბო ხელი.
 დაბრძანდი შენც, ფერმკრთალო და ლამაზო მოდგმავ,
 მოკალათდი ბედის თბილ გოჭზე.
 მობილურმა არ დაიწკრიალოს –
 ეს ჩვენი წრის ერთადერთი წეს-კანონია.
 და აი, ისიც, ქალბატონი, დაჯდა და მერე მთელი გზა დუმდა,
 მთელი გზა – ექვსიდან თერთმეტამდე.
 ხოლო შემდეგ მე ავდექი და მადლობა გადავუხადე
 საღამოსთვის, დროისათვის, სივრცისათვის, მოძრაობისთვის.

ბორის ხერსონსკი

სიგიჟის ჭა

*

ჩვენს ეზოში,
 როგორც ოდესის ბევრ ეზოში,
 იდგა ჭა, ანუ უფრო სწორად,
 მისი სრული იმიტაცია: მიწისქვეშ იყო ცისტერნა და
 შიგ წყალს ასხამდნენ.
 ეს ცისტერნები ახლა უკვე ცარიელია,
 ანდა სახლის რემონტის შემდეგ
 სამშენებლო ნაგვითაა ამოვსებული.

*

როცა პატარა ვიყავი, იყო ქა ცარიელი,
 და წყლის ნაცვლად იქ ჩასახლდნენ ხმები,
 ისე, როგორც ზღვის ნიჟარაში. ზუსტად იგივე ეფექტი ჰქონდა,
 ოღონდ ხმები იყო სრულიად განსხვავებული.
 ზღვის ტალღების ნაცვლად შიშინი
 და ჩურჩული გაურკვეველი.
 ეს გვზარავდა ცოტა არ იყოს,
 მაგრამ ქისკენ გადახრილებს
 გვიყვარდა ამ ხმების მოსმენა. ჩვენ ვცდილობდით
 გაგვეჩინა სიტყვები, მაგრამ ძალიან მალე
 გვებზრდებოდა ეს საქმიანობა.

*

ქალი, შავად შემოსილი, პატარა თავით,
 დოლბანდივით თავზე წაკრული ხელსახოცით,
 გაფითრებული, წყალწყალა მხერით,
 ყავარჯენზე დაყრდნობილი (ტერფები – ამჟუტირებული,
 ორივე ფეხი – მოღუნული, მუხლებზე პატარა ბალიშები),
 სრულიად შეშლილი – აი, ამ ხმებს ვინ უსმენდა საათობით.
 გაუნძრევლად იდგა და სახე უქვავდებოდა:
 შუბლშეჭმუნულს, წარბანულს.
 რაც გნებავთ, უწოდეთ ამას! უწოდეთ კატატონია,
 პირამიმია, ვერბალური ჰალუცინაცია.

ღმერთო, როგორ გვეშინოდა ჩვენ მაშინ მისი!

*

ის ქალაქში დადიოდა ყავარჯენებზე დაყრდნობილი,
 ვიღაცას მუშტს უღერებდა და ემუქრებოდა,
 და სულმუდამ ლაპარაკობდა, უფრო სწორად,
 წამოიყვრებდა ხოლმე რაღაცას,
 მაგრამ ქასთან უტყვი ხდებოდა.

და ეს იყო უსაზარლესი.

*

მახსოვს, ჭექა-ქუხილის დროს, მე ვიდექი ფანჯარასთან და ვხედავდი,
 რა ნელა კვეთდა ის მოედანს
 გაელვებებში, კოკისპირულ წვიმაში და
 განუწყვეტლივ გაჰყვიროდა, მუშტს იღერებდა, იმუქრებოდა.

ჩემს ყველა მეგობარს ახსოვს იგი, მაგრამ თუ რას ლაპარაკობდა,
 ვერვინ იხსენებს. არადა მაშინაც კი ვხვდებოდით,
 რომ რასაც ის ამოთქვამდა, ქასთან ჰქონდა გაგონილი და მოსმენილი.

ოდესური ქა, ანტიკური ორაკული,
 ცალსახა პითია, ბავშვური შიშები.

რა იყო ეს? სიგიჟის ქა, აი, რა იყო.

გლებ შულბიაკოვი

ჯემა-ალ-ფნა*

დიპტიქი

‘მკვდარ ზონაშია სატელიტი...

.....მკვდარ ზონაშია...~

მარაკეში!

ვარდისფერი ღრძილები ამ ძველი ქალაქის.

სატელიტური ანტენები

უშედეგოდ უმზერენ ზეცას –

არც წვიმას და არც ფილმს ის მათ არ დაანახებს.

შავი ტელე-ქააბა ჩაქრა.

და საღამოთი მთელი ქალაქი მოედნისკენ მიემართება.

თავები. თავები.

თავები. თავები. და კვლავ თავები.

კოშკიდან ხმა ხრიალებს, ოხრავს.

სუყველანი სალოცავად! მაგრამ ეს ხმა არავის ესმის.

ასობით ხელი დოღს უტყაპუნებს.

ასობით ტური ფლეიტას ქაჩავს.

ასობით პირი გაჰყვირის სიტყვებს –

და მოედანი ისე მითრევს, როგორც მორევი.

‘რას ინებებთ, მუსიე?~ – ვიღაც

ჩამჩურჩულებს ყურში მგზნებარედ.

‘Qu’est-ce que vous voulez?~

მე ვიშორებ მას თავიდან :

‘არა, არ მსურს საადიტების სარკოფაგების თვალიერება.~

‘არა, არ მსურს ათას ერთი ღამის ზღაპრებს ვუსმინო კვლავაც.~

‘არა, არ მსურს ქამელეონის გულ-ღვიძლს გემო რომ გავუსინჯო.~

‘არა, არ მსურს შევიცვალო არც წარსული, არც მომავალი~.

‘ანუ, მაინც რას ინებებთ, ა, მუსიე?~ –

არ მშვიდდება ვიღაც ტიპი ქრელ ჯულაბაში.

‘შეგიძლია ‘მე~ დამიბრუნო?~ – ვეკითხები.

‘მაგაზე ადვილი რაა, მუსიე!~

ის მორჩილად დაბლა ხრის მზერას –
 და იისფერი ძარღვები უჩანს, რომლებითაც დაჰქსელვია ქუთუთოები.
 `წამო, გავწიოთ ორეულების უბნისაკენ.
 და იცოდე, ვისაც თხემზე ხელს შეახებ,
 ისაა შენი!~
 ტურტლიანი ხელისგულები ერთიმეორეს ეტყუპება.
 `სულ ესაა?~ – `სულ~. იღიმის,
 და დაღრეცილ კბილებს აშიშვლებს.

`რომბიენ? – რამდენი~
 `იმდენი, რამდენსაც ალაჰის ნებით გულწრფელად გასცემ~.

მოედანი, ისე ფართო, ვითარც სიცოცხლე,
 ჩაედინება ვიწრო ქუჩების ჯოჯოხეთურ ნაპრალებში.
 ქალაქის ფაშვი ხან ბუყბუყებს და ხან ლაყლაყებს.
 სიბნელეში კი დახლებზე
 დედამიწის მთელი განძია.
 მაგრამ ქრელი ბალახონი სად დამეკარგა?
 გამცილებელს ძლივს ვასწრებ კუდში.

`მოვედით!~
 შალის თავსაბურავში, ხალიჩებს ქვემოთ
 ვილაც ცარიელ ტელევიზორს მიშტერებია –
 გვერდით, კიბეზე უდგას ჩაი, უდევს ნაზუქი.
 გამცილებელი კი მიბიძგებს: `მეგობარო, უკვე დროა!~
 შიშისაგან გატრუნული, გულზე ხელს ვიკრეფ, და _

.....

 `მე პიტნას ვყიდდი, ჟოლოსფერი ფესი მახურავს!~
 `მე მეჭორე ვარ, გაცვეთილი შტიბლეტებით!~
 `მე ჯორი ვარ, გაზის ბალონებს დავატრევ ზურგით!~
 `მეთუნე ქე ვარ, ჩემს ქვაბებში საუკეთესო კუსკუსია მთელს დუნიაზე!~
 `მე კუსკუსი ვარ, ჩემი ჭამა მხოლოდ ტუჩებით თუ შეიძლება!~
 `მე თერძი ვარ, ჯულაბები, რომელთაც მე ვქსოვ, ჰაერზე უფრო მსუბუქია!~
 `მე ჰაერი ვარ, და სუნი მდის პურისა და სველი თიხის!~

ახლა, როცა მიმატოვეს ამ შუაგულ მედინაში, შეძრწუნებულმა ვიაზრე, რომ მე ვარ
 ისინი: გამყიდველები, მეჭორეები, დამძახებლები და ლატაკები, ხელოსნები და
 მაწანწალები; რომ მე სამყაროს მათი შავი თვალებით ვუცქერ; რომ ჰაშიშს მათი
 დამძალი პირით ვისუნთქავ; პიტნის ჩაის ვსვამ ხორკლიანი მათი ენებით; ცხვარს
 ვატყავებ დაკოჟრილი მათი ხელებით; რომ მე უკვე გადმომედო ბეხრეკი ჯორის
 სიარულის ტლუ მანერები; გადმომედო ის, თუ როგორ ექავება უპატრონო კატას სხეული.
 მე მინდოდა თავი მეპოვა, მაგრამ გავხდი ყველა, ყველა! ვდგავარ – და დაბლა ვერ
 ჩამოვდივარ...

.....
 ამ დროს ინთება ეკრანები –
 სატელიტი მკვდარი ზონიდან გამოვიდა!
 და ტელევიზორის ეკრანისკენ თავს აბრუნებს მთელი ქალაქი.

მე გავშეშდი შუა ბაზარში
 და არ მესმის: ვინა ვარ, რა მჭირს?
 `მუსიე!~ - მკაცრი ხმა ჩამესმის უცებ ყურში.
 საპატრულო ოფიცერი.
 `მუსიე, თქვენი დოკუმენტები!~

– მე მეჩვენება, რომ არ ვარსებობ...
 – ვის ეჩვენება, მუსიე, რა ბრძანეთ?

პოსტსკრიპტუმი

ამ ლექსის პირველი სტრიქონების ბუტბუტი იმ მანქანაში დავიწყე, რომელსაც მარაკეშიდან ფესში მივყავდი. მაშინ უკვე ვიცოდი, თუ რაზე იქნებოდა ლექსი. თუ რა დაემართებოდა გმირს და ვინ შეეთამაშებოდა მას. თუ როგორი იქნებოდა დეკორაციები. მხოლოდ ფინალი რჩებოდა ღია. ფინალი, რომელიც ასეთ დროს წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მან მთელი ლექსი თავდაყირა უნდა დააყენოს (ანდა პირიქით).

ფინალი თავისთავად უნდა მოვიდეს შენთან, არსაიდან უნდა გამოგეცხადოს. ვიცოდი რა ეს საკუთარი გამოცდილებით, არ ვჩქარობდი. ტექსტი დაწერილი იყო, ფინალი არ არსებობდა, და მე ქუჩებში დავსეირნობდი. სანამ გაზაფხულის ერთ კვირადღეს ჩემთან, ზამოსკვორეჩიეში, მეტროდან არ გამოვედი.

მოედანი ცარიელი იყო, კიოსკიდან `რიო-რიტა~ გაისმოდა. ორი ბებრუხანა ტრამვაის უცდიდა და ბალეტზე საუბრობდა. ერთი აზიელი ქუჩას ხვეტდა. ეს ურთიერთშეხამება საკმაოდ არანორმალური იყო, მაგრამ რაღაცნაირად კეთილშობილი. კვირადღისეული. იმდენად, რომ მოედნის შუაგულში გავშეშდი არაფერზე მოფიქრალი და პირდაღებული. ჩვენთან, ზამოსკვორეჩიეში, ქალაქური გარემო საკმაოდ მალე გეწება. რისი თქმა მინდა ამით? იმის, რომ ერთნუთიანი ჩემი გაშტერებული დგომის შემდეგ ვილაც ტიპი `მომება~ და ლუდის დაღვევა შემომთავაზა. რა თქმა უნდა, იგულისხმებოდა, რომ ლუდი ჩემი ფულით უნდა დაგველია. მე ლუდს არ ვსვამ, მაგრამ ათმანეთიანი იმ ბიჭს მივეცი, რათა შემშვებოდა. ბოლო-ბოლო რაც მოხდა, ხომ ჩემი ბრალი იყო – მოედნის ცენტრში ვიდექი და ამით ქალაქურ გარემოს ვალიზიანებდი.

ბიჭი გაქრა, და მე ნელა გავუყევი სახლისკენ გზას. `რიო-რიტას~ ხმა თანდათან ქრებოდა.

_ ჰა, დაღევ? – ჩამესმა მოულოდნელად ყურში.

მას უკვე ეყიდა ლუდი, საკუთარი ნახევარი დაელია და ჩემს წილს მთავაზობდა. ვიუარე. და ვუთხარი, რომ მე იმ ქუჩას მივუყვები, რომელიც ერთნაირად გვეკუთვნის ორივეს. ამიტომ მას უფლება აქვს, იაროს და ილაპარაკოს რამდენიც სურს – მე კი ვიტოვებ უფლებას, არ ვუპასუხო და სიარულის ტემპი არ დავაგდო. ანუ გინდა იარო? – იარე, ოღონდ ხელს ნუ შემიშლი.

და ის გვერდით გამომყვა. არც ბომჟი იყო და არც უბნის ლოთი, ანუ თევზის ბაზრის ახლომახლოს მოყიაღეთა დიდ რაზმს არ განეკუთვნებოდა. ის იყო ადამიანი არსაიდან, უასაკო არსება. მოგზავნილი. არადა, მეორე ფრაზაზევე გაირკვა, რომ ბიჭი ტაშკენტიდანაა (`ისევ ეს ტაშკენტი!~). მე რაღაც მოვროშე ტაშკენტზე, რომელთანაც ჩემი ანგარიშები მაქვს. თუმცა ის აბსოლუტურად გულგრილი დარჩა ჩემი `ტაშკენტელობისადმი~ და ლუდის წრუპვა განაგრძო.

მალე დაცალა და ბოთლი ასფალტზე დადო. მეც რატომღაც შევჩერდი.

მან მითხრა:

– გინდა, იგავს მოგიყვები.
 `ოლონდაც ეს არა!~ _ გავიფიქრე და დავეთანხმე.
 – ახალგაზრდა ბუდისტი ბერი მოძღვართან მიდის – დაიწყო მან.
 `ოლონდაც ბერებზე არა!~ - გამიელვა თავში.
 – ...და ეუბნება: `მოძღვარო! მე მეჩვენება, რომ არ ვარსებობ!~
 ბიჭმა გზა გადამიღობა და ჩვენ კვლავ შევჩერდით.
 ის ახლა პირდაპირ თვალებში მიყურებდა.
 _ `...ვის ეჩვენება?~ - ჰკითხა მოძღვარმა ბერს.

* ჯემა-ალ-ფნა – მარაკეშის შუასაუკუნისდროინდელი მოედანი, ერთდროულად ბაზარიც და ტრადიციული მუსლიმური წარმოდგენების ადგილიც.

ემზარ კვიტაიშვილი

Поэт, переводчик, эссеист. Доктор филологических наук. Лауреат Государственной премии Грузии.

ევგენი ევტუშენკო

ლალიძის ლიმონათი

ქურუმთა გუმანს ჩვენ ვინ გვაღირსებს,
 ოსტატებს კვალის უყვართ შენისვლა;
 წყლის საიდუმლო გაჰყვა ლალიძეს,
 ვით გალაქტიონს, ჯადო ლექსისა.

დღეს ლექსი მდარეს მოჰგავს ლიმონათს,
 ცრუ საქმოსანთა სიხარბემ გვიმტრო,
 მათმა ხრიკებმა ჩვენ დაგვიმონა,
 წყალწყალა შამპუნს დაარქვეს “სიტრო”.

გაქნილ მეწარმეთ სადღა წაუვალთ,
 მათ სათრეველად გული მაქეზებს,
 სულ მახსოვს გემო იმ სასწაულის,
 რომ შიშინებდა ერთ დროს ბაგებზე.

ხილის სასმელი მზრუნველ ხელს ითხოვს,
 მსუბუქი თრობის მესმოდა ჰიმნი,
 ტკბილ ბუშტულებში მღეროდნენ თითქოს –
 ციცქნა, პანია სულები ლიმნის.

სიკვდილი მოხუცს მიადგა მისანს,
 არ შერხევია სახეზე ნერვი,
 თან საიდუმლო მოჰქონდა წყლისა,

ვერ გადასცემდა რომელსაც ვერვც.

ერთმა გაბედა, ჰკითხა კვიმატად,
დახრისას: “რაა მულაში თქვენი?”
მაშინ ლაღიძეს გაელიმა და
იმ ყმაწვილს წვეტი უჩვენა ენის.

არსენ ერემიანი

ბრმა ტროლეიბუსი

სხვისი სული თუ გახვედრებს ფარდას,
სხვაც აღარ უნდა შეუშვა შენში.
მიჰქროდა ჯეირანივით მარდად
ტროლეიბუსი და გავდა შეშლილს.

ერთი, ვინც იჭდა კიდეში, გვერდით,
ფიქრობდა, თვლემდა ძილმორეული.
მერე მომნუსხველს შეხედა წერტილს
და მოიმარჯვა თხელი რვეული.

ფანქარს ავლებდა თოვლივით ფურცელს,
ხელს ატოკებდა სწრაფად, ლაღადაც,
თამამ შტრიხებსაც მიაგნო უცებ,
ის მეოცნებე სახე ჩახატა.

ოქროსფერი თმის კულულებს შორის,
სახე ქალისა ენთო მზესავით,
მოუხდა პორტრეტს ნაკვთები სწორი,
გამოჩნდა სათნო და საესავი.

მხატვარს არ ეცვა დენდის სადარად,
არცთუ ტანადი, იჭდა კარებთან;
სალონში იყო ბიჭიც, პატარა,
რვეულისაკენ თვალს აპარებდა.

მას კი სიყალბე არ ჰქონდა ფიქრად,
არაფერს აჭარბებდა თავიდან;
ესკიზი ჯუბის ჯიბეში იკრა,
გაჩერებაზე სწრაფად ჩავიდა.

თითქოს იყო და არც იყო გოგო,
ფიქრობდა, თვალებს ნისლი ეფარა;
ღვთიური ცეცხლი ჩავაქრეთ როგორ,
რა სილამაზე გამოგვეპარა.

თუმცა დატოვებდნენ პოდიუმს იქით,
მკერდი არა აქვს სხვების ოდენა;
ვერ გადაგიყვანთ ქკუიდან იგი,
არც გამოდგება ცოცხალ მოდელად.

ვერავინ იტყვის, ხვალ რა მოგველის,
სხვის ბედს ვნაღვლობდეთ, ჩვენ გვაქვს რა ნება!
ტროლეიბუსი – ბრმა, უგრძნობელი,
მგზავრებთან ერთად მიექანება.

ვახუშტი კოტეტიშვილი (1935-2008)

Доктор филологических наук, иранист, переводчик, фольклорист. Автор многочисленных монографий.

იოსიფ ბროდსკი

ოდისევსი ტელემაქეს

ჩემო ტელემაქე,
ტროიას ომი უკვე დასრულდა
ვინ გაიმარჯვა, აღარ მახსოვს, ალბათ ბერძნებმა:
ამდენი მკვდრების მიმოფანტვა უცხო მიწაზე,
ბერძნების გარდა არავის ძალუძს, გზა შინისაკენ
გრძელი გამოდგა, თითქოს სანამ იქ დროს ვფლანგავდით,
პოსეიდონმა საგანგებოდ გაჭიმა სივრცე.
მე აღარ ვიცი სადა ვარ და ჩემს წინ რა არის:
რალაც კულძული ქუჩყიანი, ეკალ-ბარდები,
ღორღი, ღრუტუნი ღორებისა, მთლად დაბურული
ბაღი და ვილაც დედოფალი, ქვები, ლოდები. . .
ჩემო ტელემაქე ერთმანეთს ჰგავს ყველა კუნძული,
როდესაც ამდენს მოგზაურობ, უკვე გერევა
ტვინში ტალღების სათვალავი, და ჰორიზონტი,
მტვრად დაღეჩილი, თვალებს გიწვავს, გიცრემლიანებს
და ყურთასმენას მთლად გიხშობენ წყლის არსებანი.

ჩემო ტელემაქე, გაიზარდე და დავაუკაცდი,
მხოლოდ ღმერთებმა თუ უწყიან შევხვდებით კვლავაც?
უკვე ის ბავშვი აღარა ხარ, რომლის წინაშეც
შმაგი ხარების დაოკება მომიხდა ერთხელ.
და პალამედე მიზეზად რომ არ გაგვხდომოდა,
ჩვენ ალბათ ერთად ვიცხოვრებდით. თუმცა ვინ იცის,
იქნებ ასე სჯობს, შენ უჩემოდ დაბლვეული ხარ
ოიდიპოსის ვნებათაგან, ჩემო ტელემაქე,
შენი სიზმრები უმანკო და უცოდველია.

საშობაო ვარსკვლავი

საგრძნობლად ციოდა, ის მხარე სიცხეს უფრო იყო ჩვეული.
ვიდრე სუსხს, და ვაკე ადგილებს, ვიდრე მთას, და ზამთრით
ძლეული

უდაბნო გრიგალებს მიჰქონდა, ქარმა არე-მარე შეყარა,
ყრმა იშვა იქ, გამოქვაბულში, რომ ეხსნა ცოდვილი ქვეყანა.

მას დიდად ეჩვენა ყოველი: ხარის ნესტოები საზარი,
თვით იყო წერტილისოდენა. ვარსკვლავიც წერტილი იყო.
გულდასმით, ციმციმის გარეშე, დაფლეთილ
ღრუბელთა შორის

ამობრწყინებულმა ვარსკვლავმა ბაგაში მწოლარეს, შორით
შამყაროს უძირო სიღრმიდან, დასალიერიდან ლამის
შიგ გამოქვაბულში შესჭვრიტა.
ეს იყო თვალთვალი მამის.

კოტე კუბანიშვილი

Поэт, переводчик, певец, шоумен.

ვლადიმერ ვისოცკი

არ მიყვარს

ვერ ვეგუები ფატალურ ფინალს,
არ მეკარება ფიქრი დამღლეული
და არ ვენდობი მე არც ერთ დილას,
როცა სიმღერებს გუილტ არ ვმღერი.

ვერ ვიტან სისინს ცინიზმის ცელის,
აღფრთოვანების არა მწამს, ჰოდა
მწყინს, თუ ზურგს უკან კითხულობს წერილს
ის, ვისი ნდობის იმედი მქონდა.

ვერ ვიტან სიტყვას, ნახევრად ნათქვამს,
უთქმელობისაც ნაკლებად მესმის,
არ მიყვარს, როცა ვაღაცა გამთქვამს
ან შუბლში ტყვიას პირდაპირ მესვრის.

ვერ ვიტან ქორებს ვერსიის სახით,
პატივის ეკალს, ეჭვების ქიას,
ვერც ყოველი დღის დასასრულს კრახით,
ვერც დანის წვერით მინაზე ღრჭიალს.

თავდაჯერებას ვერ ვიტან მაძღარს,

ვამჯობინებდი ცოცხლად წამებას,
მწყინს, თუ ღირსებას ვიღაცა ლანძღავს,
ანდა ამართლებს ცილისწამებას.

ფრთამოტეხილი კაცის ყურება
არ არის ჩემთვის სილა გაწნული,
არა მწამს ძალა, არც უძლურობა,
ოღონდ გულსა მწყვეტს ქრისტე ჯვარცმული.

მძულს, როცა შიში მეფდება გულში,
ან სუსტს ძლიური ცხვირპირს დაუნთხლევს.
მძულს, როცა ვინმე მიძვრება სულში
და მითუმეტეს, შიგ თუ მაფურთხებს.

არ ღირს სცენით მოთბობა ხელის,
აქ მილიონად მანეთს იკმარებ,
თუმცა წინ ბევრი ცვლილება მელის,
ამას ვერასდროს ვერ შევიყვარებ.

* * *

კარგი დღე – თოვლი არ დნება თბილა,
რომ გაგვისწოროს დღეს ყველას სურს
და მეც ვცდილობ რომ შევირგო დილა
და მივუყვები ღირიკულ კურსს.
გული მიცემს შემირყია ფესვი,
თითქოს სიმთვრალე ყელს ავსებს ჩემს,
ექვსი ჭიქა რომ დილიდან შევსვი
შავი ყავა იმიტომაც ცემს.
თავეებს იკლავენ ამნაირ დობით
მაგრამ რჩევები სიყვარულს სპობს
მე მყავს ნაცნობი, ვინც ვირტუოსი,
ვით ამტკიცებს რომ მოკვდე ჯობს.
მაგრამ იუნდა და ბევრი
გასაკეთებლად რა დარჩა სხვა,
რომ არ გაგიხმეს სიცოცხლის ნერგი
უნდა ცხოვრება ბოლომდე სვა.

თორემ ხამხამსაც ვერ ასწრებ თვალის,
ხედავ ვიღაცა სამარას თხრის
და წაყენებას მოელი ბრალის,
უკვე საწოლში მსუნთქავი ძლივს.

უნდა შეძლო, რომ არასდროს კვებნად
არ ჩაითვალოს ნათქვამი ეს,
არ მიცხოვრია მე ცუდად ქვეყნად
და რაც ვიცხოვრე არ ვნენობ დღეს.
თუმცა მე ჩემ თავს ბუნებას ვანდობ,

პოეზიაა მზიანი დღე,
მაგრამ მე ამას სხვაგვარად ვამბობ
რადგან პოეტი არა ვარ მე.

* * *

მე ჩემ თავში რომ ვერ ვგრძნობდე ძალას,
რითიც ვიცი გავიცოცხლებ გვამს,
საერთოდ არ შევხედავდი ქალებს
და ალკოჰოლს არ დავლევდი გრამს.

ან რომ ვიყო გატენილი ჯანით,
მეშინია გაფიქრებაც კი
ჩავისხავდი ღვთიურ სიტხეს ჯამით,
მაგრამ ქალებს როგორც ადრე ვთქვი.

და რადგანაც საშუალო ტანით,
მე გახლავართ რა ვაკეთო სხვა,
ვტკბები ქალის მშვენიერი კანით
და არაყის არ მბეზრდება სმა.

გლებ შულპიაკოვი

ძილია თეტრ წიგნზე დიდხანს რომ შეკავდა
წიგნიც მკითხულობდა თან მეც რომ თავებათ,
ღვინოს ვარდისფერი შროშანი კენკავდა
მათ, ხომ სასმელები სულ ეცოტავებათ
ტკბილია გაძრომა სტროფებში თუ ნელა,
რომ წარმოაჩინო უწიგნოთ შენობა
სანამდე მიწას თხრის ღამეში თხუნელა,
ქალაქი – ბნელია მისი მნიშვნელობა.

ჯანსუღ ჩარკვიანი

Поэт, переводчик, публицист. Первый президент грузинского ПЕН-центра всемирного ПЕН-клуба. Лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Почетный гражданин Тбилиси. Кавалер Ордена Вахтанга Горгасали 1 степени.

ბელა ახმადულინა

ყვავილები

სათბურში ლამაზ ყვავილებს ზრდიდნენ,
იცავდა ჭერი ყვავილთა მოდგმას.

როს მაძღარ ფესვზე ამოიზიდნენ,
მთლად სიფრიფანა ფურცლები ჰქონდათ.

მწარე კალიუმს უყრიდნენ ყვავილს,
უყრიდნენ სასუქს და იცით რისთვის?
რომ პანაწინებსმიწის ქვეშიდან ემზირათ მზისთვის.

სათბურში ასე ზრდიდნენ ყვავილებს,
ჰქონდათ სინათლე და მიწა ჰქონდათ,
არც სინანულის, არც სიყვარულის,
არც სიბრალულის ქარი არ ჰქონდა.

ო, იქნებ კიდევ დაამახსოვრდეთ
დღეს საზეიმო და სასურველი,
მაგრამ ერთია, მათ არასოდეს
არ შეიძლება ჰქონდეთ სურნელი.

ფუტკრის ზუზუნსაც ვერ შეიცნობენ,
ვერ დადნებიან ბაგეზე ნაზად –
და ვერასოდეს ვერ შეიგრძნობენ
ცვრიანი მიწის გემოს და ლაზათს.

ევგენი ევტუშენკო

შაგრენის ტყავი

შიში სულში შემომიძვრა ჩუმად, ფლიდურად,
დრო შემომეჭახა, აღარ ვერ მდიდრულად.

კარგად ვიცხოვრე, მაგრამ ჭკვიანებს არ ვგავდი,
დროს სულელურად ვფლანგავდი.

გაქრა შებოჭილობა, რისკიანი ნაბიჯიც,
მილიონი კაკალი დარჩა კბილმოსასინჯი.

ციებცხელებით ვტორკნი ბედ-იღბალს თავიდან
მაგრამ რას უზამ, რაც უკვე წავიდა.

სულის ამოთქმა და ამობრუნება გამოძნეულდა,
უკმარისობა დღელამის გამიგრძელდა.

განამებული ლოგინზე ვეცემი,
ველარაფერს ვასწრებ ვერც ძელით, ვერც ნებით.

სულიდან ბებერი მშირდება ჟანგი,
სათქმელს ვერ ვამთავრებ უთქმელობა მჯაბნის.

დაჭმუჭნული შეგრენის ტყავივით
მრისხანედ პატარავდება სულის ყვავილი.

ანდრეი ვოზნესენსკი

ლოცვა

როცა ქალაქდზე გადამაქვს სითბო,
როცა მშვენებას ლექსში ჩავქარგავ,
ძვირფასო, განა რამეზე ვფიქრობ,
- მეშინია, რომ ქკუას დავკარგავ.

როცა უეცრად ამოხვალ წყალთან,
მოისწრაფვი და მე თვალს გარიდებ,
ცით ლოცვას კი არ აღვაგლენ წმინდას
- ვშიშობ, ქკუიდან არ გადავიდე.

მონასტრის მიღმა ბაღს თვალი ვკიდე,
ვარდისფურცლობის იყო ნიშანი,
როცა თვალს მოვკრავ ნაწვიმარ მინდვრებს,
მეშინია, რომ არ შევიშალო.

როცა ყვავილთა უყვავილესი
ბაფხულის ფერი გულმკერდს გაგლიჯავს,
- მე რა ღირსი ვარ ყოველივესი
ვფიქრობ და ვშიშობ, რომ არ გავგიჟდე.

წასული სულის შემობრუნება
ვინ არის იგი ღმერთმა არგუნოს?
- ჩემო რუსეთო, ჩემო ბუნებავე,
შენში ვარ, უკან არ დამაბრუნო.

გაუმარტოს,
ორ საათზე მთვარიანში გრიალს,
მთვარიანში, ორ საათზე
ცივა გვარიანად.
ორღობეში გაყინული
შავი ვარდი გდია,
აქ, ეტყობა,
მარჩენალმა ძროხამ გაიარა.

ალექსანდრე მეჟიროვი

საგურამოს სიმღერა

უფლისა სამოწყალო,
ხმაში ჩაიფენს ხავერდს,
ზედ ფანჯარასთან წყარო
წკრიალებს დღედაღამე.

თენდება ზუსტად სამზე,
მთა ცისკარს კალთას უფენს
და საგურამოს თავზე
ქარი მორეკავს ღრუბელს.

იქ, სადაც წყარო მოქრის,
სალ საუკუნეთ აწვიმთ,
ძველი, კახური დოქი
დგას, როგორც მთვრალი კაცი.

ამ უცხო მხარის დღესა,
სხვა მზენი ანათებენ,
წყარო კი ქვაზე ლესავს
ყინულის სამართებელს.

მიძღვნა

უჩემოდ რაღაც აკლია ხალხს
ა.პლატონოვი.

მიწათ, შენი ნატვრის წიაღში,
შუბლს ადგას ტანჯვის კორიანტელი,
მე მისი მკაცრი მზერის წინაშე
წმინდა ვარ ისე, როგორც სანთელი.

ამოვიგლიჯავ გულიდან სიტყვას,
სილალის ენით და სიყვარულით,
რომელსაც ფანჯრის გადაღმა მიყავს
ღიმილი ჩემი ტკბილი მამულის.

მივდივარ, გზა-გზა ვიძენ ბილეთებს,
სადგური მაწვდის სევდით ბარათებს,
მეხსიერება როგორც სიკეთეს
ბოროტებესაც ისე დაათრევს.

გზად გაზაფხული ველი მიღელავს,
ცაში მიშლიან ჯვრები ქვის ხელებს.
ახალგაზრდობას, ვით ძველ სამიღერას
ვიხსენებ კიდეც დ ავერ ვიხსენებ.

გვასუსტებდნენ და დეზინფექცია
 შეჰყავდათ თანში მყრალი ტკივილით,
 მაგრამ სიცოცხლის გზა არ შემცვლია,
 კვლავ რომ მცოდნოდა მღერაც, ტირილიც.

იუნა მორიცი

ყვავი

ყრანტალებს ყვავი,
 ბებერი ყვავი,
 გაძვალტყავებულს
 აღარც აქვს თავი
 აღარც საფლავის
 აღარცა ძვლების,
 ყვავს კატარი აქვს
 სასუნთქი გზების,

ვერც ძველებურად
 ფრთებს ველარ აქნევს,
 ჯერ არ ყოფილა
 ასე გამხდარი,
 ვერ წაუვიდა
 ყვანჩალას საქმე
 და იმზირება
 სახე წამხდარი.

ის ღამლამობით
 ოხრავს და კვნესის
 და მოსჩანს, როგორც
 შავი ვარსკვლავი.
 წარმოიდგინეთ
 ხანდახან მესმის
 იმის ბებერი
 მხრების კანკალი.

მე ხუთი წლის ვარ,
 შიშით და თრთოლვით
 დედას ვეკვრი და
 ვპოულობ შვებას,
 ის მშვენიერი
 ისე ვით თოვლი,
 იკავებს სიცილს
 და მეუბნება:

რომ ყვავს, საცოდავს,
 მოუჩანს ძვლები,
 რომ ბოლოს, ყველა

ასე შიმშილობს,
ყვავს აქვს კატარი
სასუნთქი გზების,
არის ობოლი
და უძირშვილო.

ბულატ ოკუტავა

სიმღერა ფიროსმანზე

ნიკოლაი გრიციუკს

იცით ძმანო, რა მომდის,
როცა სიზმარს ვხედავ,
კედლებიდან გადმოდის
ფიროსმანის სევდა.

პრიმიტიულ ჩარჩოდან
მთელ ქვეყანას უმზერს. . .
ყიდის ერთ თევზ ხარჩოზე,
ყიდის კუკმა პურზე.

თავად ტყავი და ძვალი
ჰგავს უაზრო სიზმრებს,
მაგრამ შველი მაძლარი
სურათიდან მიმზერს.

ეფიცხება შუადღის მზეს
ტურფა ორთაჭალის,
მოშიშვლებულ ძუძუზე
უთრთის ქორფა ხალი.

ირგვლივ ხალხი ყაყანებს.
ქეიფობს და მღერის.
ნიკო ხატავს სამყაროს
თან ლამაზმანს ელის.

თუმცა მიწას დაეყრდნო –
ქვეყნის გულისფიცარს,
მისთვის პური არ ეყო
ამოდენა მიწას.

ფრანსუა ვიიონი

სანამდე მიწა ბრუნავს ხალისით,
 სანამ არსებობს წესი და რიგი,
 ღმერთო, მიეცი ყველას თავისი, -
 რაიც აკლია, მიეცი იგი.
 ბრძენს მიეც გონი, მშიშარას ცხენი,
 ბედნიერს ფულად მიეცი ძღვენი,
 მაგრამ ხანდახან მეც გამიხსენე.

სანამდე მიწა ბრუნავს უფალო,
 სანამ უფლებით გცანით,
 მიეც უფლება ვინც უფლებისკენ
 მიელტვის მთელი ძალით.
 მიეც გულუხვ კაცს გზა უკვდავების
 და მოსვენება მის ხელებს,
 შენ მიუტევე კაენს კაენის,
 მაგრამ ხანდახან მეც გამიხსენე.

მე მჯერა შენგან რა სიბრძნეც მოჰქუხს.
 მე მჯერა შენი შეუძლებელიც,
 ისე, ვით სჯერა ჯარისკაცს მოკლულს,
 რომ სამოთხეა მისი მძებნელი.
 ისე, ვით სჯერა ჩვენს ყურთასმენას
 შენი წყნარი და სათნო სიტყვისა,
 ვით შემოქმედი მიჰყვება რწმენას
 და რას ჰქმნის მაინც არა იცის რა.
 უფალო, მწვანეთვალეზიანო,
 ეს დედამიწა სანამ ტრიალებს,
 სანამ დრო აქვს და ცეცხლი ფხიზელი,
 მიეც ცოტ-ცოტა ადამიანებს,
 მაგრამ ხანდახან მეც გამიხსენე.

იური რიაშენცევი

სულ უიღბლოდ მივლია
 ივერიის სოფლები,
 გესალმები თუ არა,
 იქვე ვემშვიდობები.

გიცნობთ, ზედ ქარაფებზე
 ლალატიან ბილიკებს,
 ღელე განთიადისას
 ტალღას მიაქილიკებს.

ტყრუშულ ღობეს მივადექ,

გვერდზე ვერ გავიმიჯნე,
ოდა წკიპზე უჭირავს
იმერეთის ხიმიტებს.

გაირინდა სალამო,
ჩქარა, “მრავალჟამიერ”,
არ უვლიათ უმღერლად
ავთანდილს და ტარიელს.

უსიმღეროდ საძმოში
ტირილის არ გვრცხვენია,
მგზავრობის წინ გავყუჩდით,
სიტყვა არ დაგვცდენია.

ადგილიდან ვერ იძვრი
და სიმღერაც ცხარდება,
მორჩა, ამას ნამდვილად
ჰქვია გამოცხადება.

აბა, ჩქარა, აბა, ჩქარა,
ძველი ჩქერალებისკენ,
კალმახისთვის კი არა,
ძველი სალამურისათვის.
აბა, ჩქარა, აბა, ჩქარა,
ძველი ჩქერალებისკენ,
ამ სალამურს ძმობილო,
წლები ახლავს ურიცხვი.

ამ პატარა სალამურს
წყენაც გამოჰყოლია,
ვაჰ, კოლხეთო, შენო ზეცა
ლალა, თუ ბროლია?
შორია შენს ვარსკვლავამდე,
შანშისამდეც შორია.

სალამურის სუფთა ჰანგებს
შვენის ბგერათ რხევანი,
წყლის დგაფუნში ხმა მომესმის
მუქი, გაუგებარი,
ისე, როგორც “იზაბელას”
შეთვალული მტევანი.

